

Оглавление

Введение. «Не литература сама по себе, а ее социальное бытование»: институты литературы в Российской империи	7
ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ XVIII — НАЧАЛА XIX в.	
Глава 1. Открытость поля поэзии, или Поэзия как товар (А.А. Костин)	37
Глава 2. Вымыслы поэтические и преступные: литература среди других институций письма (А.А. Костин)	74
Глава 3. Институциональный статус литературных обществ второй половины 1810-х годов (А.С. Бодрова)	98
ЧАСТЬ II. НОВЫЕ ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ И ЭВОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ В 1830–1850-х ГОДАХ	
Глава 4. Публичная сфера и политическая мысль: институты полемики в ранней истории западничества и славянофильства (М.Б. Велижев)	131
Глава 5. Фельетоны журнала «Современник» и формирование публичной сферы в 1850-е годы (Е.И. Вожик)	151
ЧАСТЬ III. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕДИНЫ XIX в. МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ	
Глава 6. «Прилично ли такое представление на театре»: моральные категории и социальное воображаемое в деятельности драматической цензуры середины XIX в. (К.Ю. Зубков)	177

Глава 7. Чиновник и писатель: случай И.А. Гончарова (С.Н. Гуськов).....	229
Глава 8. Пореформенный театр в поисках автономии: падение театральной монополии и сопутствующие процессы (А.С. Федотов).....	247
ЧАСТЬ IV. ПИСАТЕЛЬСКИЕ СООБЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ АВТОНОМИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.	
Глава 9. Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым: от «чистого искусства» к реалиям литературной жизни (М.С. Макеев).....	275
Глава 10. Русская литературная богема (1860–1880-е годы) (А.И. Рейтблат).....	294
ЧАСТЬ V. ЛИТЕРАТУРА И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ	
Глава 11. От «Полной русской хрестоматии» к первой программе по литературе: становление стандартов литературного образования в России и педагогические проекты А.Д. Галахова 1840–1850-х годов (А.В. Вдовин).....	315
Глава 12. «Общество это составляю я один»: генезис и рецепция педагогического проекта Л.Н. Толстого в свете дискуссий начала 1860-х годов о законах общественного развития (Ю.И. Красносельская).....	349
Глава 13. Чтения для народа как государственный просветительский проект в поздний период Российской империи (Я.Я. Агафонова).....	397
Список сокращений.....	436
Список литературы.....	437
Именной указатель.....	479
Об авторах.....	493

*Введение. «Не литература сама по себе,
а ее социальное бытование»:
институты литературы в Российской империи*

Почти столетие назад в статье «Литературный факт» Б.М. Эйхенбаум утверждал, что в силу современных обстоятельств наиболее актуальным предметом исследований становится «не литература сама по себе, а ее социальное бытование». За последние десятилетия в отношении советской литературы, в том числе тех лет, когда Эйхенбаум писал эти слова, действительно произошел переворот: в многочисленных работах было показано, что совершенно невозможно рассуждать о биографиях писателей или литературных текстах без учета социальных рамок, в которых жили эти писатели и производились эти тексты. Напротив, в отношении литературы XVIII в. и особенно XIX в. таких исследований пока проводилось мало. Ярким примером может послужить изучение института литературной критики: если советской и постсоветской эпохе посвящена фундаментальная коллективная монография [Добренко, Тиханов, 2011], то критика имперского периода, при всей ее известности и важном положении в литературном каноне, как социальный институт практически не описывалась. Предлагаемая вниманию читателей монография призвана если не восполнить этот пробел (задача едва ли выполнимая в рамках одной книги), то хотя бы обратить внимание на актуальность и многообразие проблем институциональной истории литературы.

Ключевым понятием для нашей работы стал социальный институт, который мы понимаем как особую систему правил, норм, ролей, ценностей и организаций, способную к самовоспроизводству. Именно таким образом можно представить как литературу в целом, так и тесно связанные с нею явления, такие как преподавание словесности, книгоиздание, цензура и многое другое. Художественная литература как относительно автономный институт складывается, по всей видимости, в XVII–XVIII вв. вместе с развитием книжного рынка, увеличением количества и разнообразия читателей, появлением и ростом влияния периодики, возникновением литературной критики и другими процессами. Социологи русской литературы Б.В. Дубин,

Л.Д. Гудков и А.И. Рейтблат описали общие социокультурные рамки, логику и этапы развития института литературы в России [Гудков, Дубин, 1994; Рейтблат, 2001; 2009; 2014]. Некоторые институты, которые иногда называют неформальными, не создаются за счет целенаправленных действий какого-либо субъекта (человека или организации) и не обладают кодифицированной системой правил. К ним, например, относится авторство — явление, конечно, исторически изменчивое и тесно связанное с общественным развитием, но едва ли сводящееся, например, к юридическому феномену авторского права. Другие — формальные — институты, такие как цензура, связаны с определенными кодифицированными правилами и создаются целенаправленно. Однако даже формальные институты нельзя сводить к конкретным организациям, в том числе бюрократическим аппаратам. Скажем, в подавляющем большинстве цензурных уставов предписывалось разрешать произведения выдающегося художественного достоинства и запрещать произведения безнравственные, однако даже самые мелочные законодатели в области печати никогда не пытались дать точное определение «художественного» или «безнравственного» произведения. Цензорам приходилось полагаться на критерии, сложившиеся в определенных общественных кругах, или заимствовать их из литературной критики, или хотя бы опираться на сложившуюся в рамках ведомства практику. Так или иначе цензура как институт далеко не сводилась к цензуре как ведомству в составе одного из министерств.

Единой и непротиворечивой классификации типов литературных институтов и институций, характерных для русской литературы, в историографии пока не существует, поэтому вместо нее мы представим краткий хронологический обзор наиболее значительных исследований, сфокусированных на социальной природе литературы и институциональном контексте ее бытования. В самом общем виде мы исходим из предпосылки, что литература представляет собой не абсолютно автономную сферу свободного творчества, а часть общества, и потому неизбежно выполняет определенные социальные функции. Во многом мы отступаем от привычного литературоведческого инструментария, для которого на первый план выходят другие субъекты — прежде всего собственно авторы произведений и — реже — политическая власть, выступающая преимущественно

как источник репрессий и цензурного вмешательства. Не отказываясь от описания позиций этих участников литературного процесса, мы расширяем список акторов, обращая внимание на читателей, посетителей театров, издателей, цензоров, редакторов, учителей и многих других лиц, без которых функционирование литературы как института не представляется возможным.

Неудивительно, что институциональный подход редко применяется к литературе XVIII–XIX вв. Произведения писателей этой эпохи до сих пор обладают в русской культуре нормативным статусом, воспринимаются как образцовые и наделенные универсальным смыслом и ценностями. Это восприятие во многом мешает видеть в классических романах или стихотворениях продукт исторически сложившихся механизмов культурного производства. Привилегированный статус автора, создающего подобные произведения, благополучно пережил попытки резкой критики и деконструкции, начавшиеся еще в критических статьях радикальных демократов 1860-х годов, таких как Дмитрий Писарев. Соответственно исключительное внимание исследователей к нескольким авторам, прежде всего создателям литературного канона и их окружению, сделало как бы «невидимыми» остальные фигуры литературного поля: грубо говоря, рассматривающий сочинения Пушкина критик обычно воспринимается не как самостоятельная фигура, а как дополнение к Пушкину.

Между тем анализ литературы как социального института, конечно, способен не только изменить наши представления об общественной роли писателей XIX в., но и совершенно по-новому представить самих этих писателей. В качестве примера достаточно привести публикации М.С. Макеева, в совсем ином свете представившие журналистскую деятельность Некрасова, см.: [Макеев, 2009; 2018]. Если ранее издание журнала «Современник» рассматривалось как успешное деловое предприятие, обогатившее поэта, то Макеев, обративший внимание на литературную экономику и социальные функции журнала, убедительно показал, что «Современник» издавался в убыток редакции. Современники часто упрекали Некрасова в «литературной эксплуатации» — стремлении зарабатывать за счет других писателей и читателей. Напротив, в реальности журнал был для Некрасова фактически формой инвестирования собственных средств в поддержку начинающих авторов и развитие литературы.

В рамках социологии и социологии литератур уже давно развиваются системные теории литературы, представляющие ее как систему систем (И. Эвен-Зохар) или как конфигурацию взаимопересекающихся полей (П. Бурдьё). Наиболее последовательное развитие теория поля получила в книге П. Бурдьё [Bourdieu, 1995], который разработал понятийный аппарат и особый инструментарий для описания поведения как отдельных участников литературного поля (писателей, издателей, книгопродавцев), так и целых институтов (журналов, кружков, салонов, премий, школ, университетов), именующихся «агентами». Последователи Бурдьё дополнили его модель объяснением функций других институтов, например школьного образования [Guillory, 1993], для развития литературы и особенно такого ее важного измерения, как литературный канон. В нашей работе, впрочем, представлен несколько другой подход.

К концу 1980–1990-х годов в мировой науке уже существовало множество примеров изучения литературы как социального института. Импульс шел сразу по нескольким линиям. Их краткий обзор предложил известный немецкий социолог литературы Петер Уве Хоэндал, приведя три основные версии институционального подхода к литературе, см.: [Hohendahl, 1989, p. 1–44]. Первая из них — интеракционистская, т.е. уходящая от характерной для традиционной науки о литературе сосредоточенности на фигуре автора и основанная на анализе прежде всего читательских сообществ, благодаря которым, собственно, и могут восприниматься литературные произведения, см. особенно [Fish, 1980]. Вторая линия — марксистская — предполагает, что институты суть формы организации политической власти, посредством которых эта власть формирует субъектов деятельности, в случае литературы — авторов и читателей. В качестве примеров такого подхода Хоэндал называет Антонио Грамши, Луи Альтюссера, Этьена Балибара и проч. Эта линия изучения литературы, стоит отметить, в целом до сих пор очень мало востребована в российских условиях, что предопределяет очевидную лакуну в исследованиях. Наконец, третий подход к институтам литературы связан с так называемой «критической теорией», прежде всего концепциями Юргена Хабермаса и отчасти более ранними трудами Вальтера Беньямина. Для представителей этого подхода институт литературы исторически складывается в ходе автономизации общества и, строго говоря, немислим без этой автономизации.

Именно третий из названных способов институционального анализа литературы, связанный с проблемой автономной публичной сферы и ее взаимодействия с государством, пока оказывается наиболее значимым для исследователей. В самом общем виде концепция Хабермаса основана на представлении о модернизации — развитии общества, стремящегося отказаться от жесткой монолитной традиции и стать «современным», предоставляя все большему числу людей возможность выбора идентичности¹. По мнению немецкого ученого, этот процесс начинается еще в эпоху Просвещения и в той или иной форме сохраняет свою значимость до настоящего времени. Собственно, для Хабермаса литература (и искусство в целом) стала наиболее ярким примером, позволяющим увидеть характерную для «модерна» «автономизацию секторов (науки, морали и искусства. — А. В., К. З.), разрабатываемых специалистами, и отделение этих секторов от потока традиции» [Хабермас, 2005, с. 19]. В этой связи Хабермас описывает роль литературы в конструировании «буржуазной публичной сферы» — типа общественных отношений, основанных на свободной коммуникации критически мыслящих независимых субъектов. Анализ Хабермаса подчеркивает роль литературы с ее акцентом на индивидуальных переживаниях в создании и распространении представлений о ценности частной жизни, без которых функционирование публичной сферы было бы невозможным [Habermas, 1991, p. 43–56]. Таким образом, литература становится и своего рода образцом, и двигателем процессов модернизации.

Разумеется, описанная Хабермасом «буржуазная публичная сфера» далеко не была идеалом равноправия: богатые люди были в ней представлены лучше, чем бедные, мужчины — лучше, чем женщины, обитатели столиц — лучше, чем провинциалы, а жители метрополий — лучше, чем обитатели колоний. Тем не менее хотя бы на уровне деклараций любой человек теоретически мог добиться признания своего права на общественно значимую позицию. Этот декларативный универсализм, хотя и не соответствовал реальному положению вещей, все же оказывал существенное влияние на развитие литературы интересующего нас периода, когда, например, произведения, на-

¹ Схожий ракурс избрали и Б.В. Дубин и Л.Д. Гудков, в этом отношении отчасти следовавшие за немецким мыслителем.

писанные женщинами, могли приносить сочинительницам внушительный коммерческий успех, а бедные литераторы из провинций, наподобие Белинского или Добролюбова, подчас имели возможность стать «властителями дум» в столицах.

Подход Хабермаса, впрочем, неоднократно подвергался критике за нежелание учесть нелинейность и сложность становления современного общества и проблемное место литературы в этих процессах. Роберт Дарнтон остроумно заметил, в частности, что, вопреки Хабермасу, глубокая интеллектуальная критика сложившихся политических, религиозных и общественных авторитетов вовсе не была основным содержанием литературных произведений эпохи Старого режима. Накануне Великой французской революции, по мнению исследователя, королевская цензура по преимуществу вынуждена была бороться вовсе не с радикальными сочинениями Вольтера или Дидро, а с порнографической продукцией, популярной среди парижских низов (см., например: [Darnton, 1995]). Для нас актуальной представляется точка зрения историка, представителя школы «Анналов» Роже Шартье, который, полемизируя с Дарнтоном, со ссылками на Хабермаса писал о том, каким образом развитие литературы (в том числе и литературной критики) подрывало монолитную систему авторитетов и иерархий Старого режима и способствовало созданию новых форм публичной коммуникации:

<...> рост числа газет и журналов, их более частая периодичность и их внимание к новейшим литературным веяниям создают почву для появления суждений, не подчиняющихся диктату официальных изданий, почву, на которой возможно столкновение противоположных мнений <...> само обилие и разнообразие периодических изданий дают пищу для критического обсуждения и жарких споров. Стараясь говорить от имени читателей и апеллируя к их суду, отказываясь от закосневших форм и отрекаясь от устаревших авторитетов, литературные периодические издания вызывают к жизни новую независимую критическую инстанцию: публику, и эта инстанция становится высшей [Шартье, 2001, с. 173].

Подчеркивая значение литературы для автономизации общества, современные исследователи в то же время демонстрируют, что по крайней мере до конца XVIII в. публичная сфера вовсе не была так

независима от государства, как следует из характеристики Хабермаса. Напротив, речь идет о сложных гибридных формах, в которых может осуществляться такое взаимодействие. Так, например, провинциальные французские академии оказываются учреждениями одновременно и частными, и государственными, именно этот двойственный статус позволяет им создавать альтернативный королевской власти источник авторитета [Caradonna, 2012]. Сам Хабермас особое внимание уделял роли литературной критики, способствовавшей развитию критического мышления (родственная связь слов «критика» и «критический» так же очевидна, как и родство этих понятий). Это позволило позднейшим исследователям выстроить масштабную историческую концепцию литературной критики, отталкиваясь от описанных немецким мыслителем формирования, трансформации и распада публичной сферы [Hohendahl, 1982]. На этом фоне особенно ярко выделяется концепция современных исследователей, согласно которой советская литературная критика играла диаметрально противоположную роль: она не способствовала автономии литературы как института публичной сферы, а подрывала эту автономию, становясь проводником государственной политики и идеологии [Добренко, Тиханов, 2011].

Автономия общества и литературы от государства вызывает особенно серьезные вопросы при работе с российским материалом. С одной стороны, многие исследователи утверждают, что настоящее гражданское общество в Российской империи так никогда и не сложилось в том виде, в котором оно существовало в Великобритании или США, см., например: [Kassow, West, Clowes, 1991]. С другой стороны, если не исходить из нормативных требований совершенно независимого общества, то в той или иной степени независимое и влиятельное общественное мнение можно обнаружить в самые разные периоды: при Екатерине II, в эпоху масонских лож и независимых типографий [Смит, 2006], после наполеоновских войн, во времена тайных обществ будущих декабристов [Raeff, 1984] или в «замечательное десятилетие» — 1840-е годы, время философских и эстетических кружков [Riasanovsky, 1976]. Как представляется, проблема заключается не только в самой сложности объективно сформулировать, зависимо общество от государства или нет, но и в традиционном историческом нарративе, согласно которому «нормальная» последовательность со-

бытий состоит в эмансипации от государства, любые же отклонения от этой нормы представляют собой досадные или опасные искажения естественного хода событий. В этой связи для нас актуальна позиция исследователей, подчеркивающих бесперспективность поиска в российских условиях тех социальных явлений, которые характерны для английского или американского общества. В частности, к этому выводу приходит Лутц Хефнер, анализируя категорию «гражданское общество». По мнению исследователя, более перспективным подходом мог бы стать не поиск в Российской империи институтов и форм социальной самоорганизации, которые соответствовали бы англо-американскому образцу, а анализ складывающихся в российских регионах местных сообществ и их трансформации и развития под воздействием новых медиа, в первую очередь, периодической печати, см.: [Хефнер, 2007]. Историки, занимавшиеся развитием публичной сферы в Российской империи, также подчеркивают значение медиа, без которых трудно описать и сходство с европейской, и специфику, см.: [Ловелл, 2021; Naganawa, 2012]. В отношении литературы, разумеется, такой медиаориентированный принцип представляется особенно перспективным: невозможно рассуждать о социальных функциях произведений русских писателей XIX в., не рассматривая их произведения в контексте журналов, газет, литературных салонов и кружков, театральных постановок.

Выводы нашей работы, как кажется, подталкивают к восприятию независимости социальных институтов от государства не как необходимого эпизода на якобы непреложном пути исторического прогресса, а как результата усилий множества отдельных акторов, действующих в определенных исторических условиях. Эти усилия мало приложить единожды, чтобы раз и навсегда достичь «независимости»: напротив, в каждый исторический момент та или иная степень автономии публичной сферы от власти достигается или теряется посредством действий множества людей — именно эти действия мы и пытались описать. К тому же отношения между государством и обществом нельзя сводить к бинарной оппозиции «зависимость — независимость»: в реальности отношения между этими сущностями могут быть намного более сложными.

Проблематика предлагаемой читателю монографии отчасти определяется традиционным исследовательским ракурсом. Авторы кни-

ги, учитывая достижения Дубина, Рейтблата и многих других предшественников, пытаются обратить внимание на многочисленные до сих пор не решенные (а подчас и не поставленные) вопросы, связанные с изучением института литературы в Российской империи.

Во-первых, в центре внимания авторов оказываются неоднозначные и быстро меняющиеся отношения между государством и обществом и роль институтов в формировании и кризисе публичной сферы. Как и многие современные представители институционального подхода, авторы книги отказываются от линейного исторического нарратива о модернизации общества, о формировании автономной от государства публичной сферы и ее последующем распаде. Напротив, мы пытаемся показать, что практически невозможно свести развитие институтов литературы в Российской империи (и социальные функции самой литературы) к одному вектору, будь то «модернизация», «либерализация» или «политизация» литературы. С этим связано обращение к пограничным явлениям, находящимся на периферии литературного процесса: устным дискуссиям между западниками и славянофилами, юбилейным пьесам о российском театре, изданиям для народного просвещения.

Во-вторых, мы стремимся расширить материал исследования, обращаясь к ранее не описанным или слабо изученным институтам. Так, например, театр, драматургия, театральная критика и драматическая цензура в XIX столетии, хотя и были отдельной сферой занятости и профессионализации, тем не менее обнаружили весьма тесную связь с такими литературными ролями, как писатель, критик и цензор. В ситуации же стремительной дифференциации института литературы во второй половине XIX в. могли появляться и гибридные, временные роли — такие как популяризаторы литературы в народной среде в рамках системы чтений для народа. Даже эти примеры свидетельствуют о том, что наши представления о полном наборе социальных ролей внутри института того времени далеки от полноты и нуждаются в существенном обогащении, которое возможно только через серьезные исследования целых пластов социальной жизни, не попадавших в поле зрения историков литературы. Как часто бывает, изменение исследовательского фокуса позволяет обратить внимание на ранее не осмысленные источники, такие как, например, материалы о ценообразовании и продаже книг различных жанров в

середине XVIII в., переписка между членами Российской академии и министром народного просвещения, материалы реформы учебных планов в военно-учебных заведениях империи, отчеты сотрудников драматической цензуры о прочитанных пьесах, мемуары забытых литераторов и журналистов конца XIX в.²

В-третьих, использование социологического инструментария само по себе требует серьезной рефлексии относительно методологии исследования, хотя бы потому, что социологи не пришли к консенсусу относительно того, как именно следует изучать институты (см.: [Грейф, 2013, с. 65–71]). Очевидно, историк литературы может использовать далеко не все методы и аналитические процедуры, например, из области экономики, бездумно копируя из одной дисциплины в другую. Этот процесс требует объединенных усилий представителей разных гуманитарных дисциплин, что занимает много времени. Тем не менее даже если взять в качестве рабочего определение экономического института, данное А. Грейфом («система правил, убеждений, норм и организаций, которые совместно порождают регулярность социального поведения», а также транзакций между ними [Там же, с. 56]), то становится очевидно, что изучать следует не только социальные роли и функции литературы как института (макроуровень), но и формирование норм поведения, кодирующих его правил, государственных, общественных или частных организаций, а также убеждения и ценности, которые поддерживаются или не поддерживаются в рамках транзакций между индивидами (микроуровень). Именно такой, более гибкий подход, как нам кажется, позволяет связать описание общих принципов и периодов функционирования института литературы в России с исследованием внутренней динамики, кризисных или взрывных моментов рождения новых литературных институтов и отмирания старых.

Предлагаемая монография, неспособная, конечно, компенсировать нехватку исследований, посвященных институту литературы в

² Авторы монографии сознательно решили максимально полно цитировать малоизвестные или малоизвестные источники, особенно архивные. Текст может показаться читателю перегруженным пространными цитатами, однако, с нашей точки зрения, это предпочтительнее, чем самостоятельно проделывать архивные разыскания в поисках контекста приведенной фразы.

Российской империи, призвана хотя бы обозначить круг проблем и пути их возможного решения. Она посвящена проблемному описанию ключевых литературных институтов и институций Российской империи XVIII–XIX вв. в их тесном взаимодействии с государственными учреждениями и другими социальными институтами того времени. На первый взгляд такая постановка вопроса совсем не нова: в самом деле, еще с конца XIX столетия историки литературы занимались описанием, например, истории русской цензуры или народного образования (в том числе преподавания литературы), историей русского театра, кружков и литературных объединений. В то же время все эти феномены чаще всего изучаются, во-первых, изолированно, а во-вторых, прежде всего с идеологической или биографической стороны. Историк литературы привычно думать, например, что знакомство с какой-либо посетительницей светского салона оказалось значимо для создания любовной лирики известного поэта или что некий критик сотрудничал в литературном журнале, поскольку политическая программа этого журнала была близка его собственным взглядам. Намного сложнее, однако, понять, что даже самые фундаментальные, базовые функции и принципы построения литературного произведения и писательской биографии во многом определяются не имманентной логикой литературного процесса и даже не «сторонним» вмешательством политических или личных обстоятельств: они неотделимы от условий бытования литературы.

* * *

Проблема связей между литературой и обществом, конечно, волнует исследователей уже очень давно. Можно сказать, что научная историография русской литературы началась именно с работ по этой теме, написанных в рамках так называемой культурно-исторической школы XIX в. Хотя исследователям этого периода удалось ввести в оборот множество ценных материалов, их подход не отличался методологической рефлексией и не опирался на сложный концептуальный аппарат. В подавляющем большинстве случаев изучение литературы сводилось к описанию общественно-политической позиции писателей, а сами эти позиции прежде всего характеризовались сквозь призму очень прямолинейно понятого прогресса, который тот или иной автор мог поддерживать или не поддерживать, а его произве-

дения — отражать или не отражать. Соответственно предпочтение всегда отдавалось «отражавшим» прогресс писателям (впрочем, у разных исследователей список этих писателей оказывался разным). Эту проблему осознали и сами исследователи. В своей фундаментальной «Истории русской литературы» А.Н. Пыпин, например, формулировал (и признавал пока неразрешимой) проблему специфики литературы на фоне других форм общественной деятельности:

<...> делала небывалые прежде успехи общая историческая критика; и самый рост новейшей литературы, все более проникавшей в социальные явления, создавал представление об истории литературы как отражении исторических процессов жизни общества. <...> самый объем науки становится наконец вопросом — где же наконец ее действительные пределы; как обособить историю литературы от целого ряда соседних изучений, с которыми она иногда совершенно сливалась, как, например, первобытная мифология и этнография, история культуры, просвещения нравов, художественного развития, наконец, история политическая? [Пыпин, 1898, с. III–IV].

Схожие вопросы беспокоили и других исследователей того времени. Так, оставшийся незавершенным грандиозный проект «исторической поэтики» А.Н. Веселовского был создан, чтобы ответить на схожие вопросы о специфическом месте литературы в общественной жизни:

История литературы в широком смысле этого слова — это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом. Если, как мне кажется, в истории литературы следует обратить особенное внимание на поэзию, то сравнительный метод откроет ей в этой более тесной сфере совершенно новую задачу — проследить, каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливало всякое предыдущее развитие [Веселовский, 1940, с. 52].

Советские историки литературы собственно социологическими исследованиями занимались мало, несмотря на то что еще Г.В. Плеханов писал о «марксистской социологии». Интересно, что даже классовый анализ, казалось бы, совершенно необходимый для марк-

систской науки о литературе, не был востребован советскими исследователями уже начиная с 1930-х годов. Своеобразным жупелом в советских работах стал так называемый «вульгарный социологизм», обычно связывавшийся с работами В.Ф. Переверзева. Переверзев начал публиковать работы о литературе еще до революции, однако в 1920-е годы некоторое время воспринимался как лидер советской истории литературы. Труды Переверзева и его последователей вызвали сразу две идеологически мотивированные кампании, сопровождавшиеся упреками в меньшевизме, после которых, разумеется, влияние этого автора сошло на нет, а сам он был репрессирован, см.: [Ленерт, 2000; Jackson, 1978]. Своеобразным символом бесперспективности классового анализа литературы стала полемика между Переверзевым и М.Б. Храпченко о творчестве Гоголя: автор «Мертвых душ», по мнению первого, выражал интересы мелкопоместного дворянства, а по мнению второго — интересы среднепоместного дворянства. Впрочем, принципиальные критики «вульгарной социологии» (например: [Лифшиц, 1936]) сами стремились не заменить ее более комплексным и глубоким подходом, а просто уничтожить, расставив исследования социальных проблем в обсуждении политических вопросов.

Негативные особенности культурно-исторической школы во многом были развиты и преумножены официозным советским литературоведением, пришедшим на смену «вульгарному социологизму». Хотя конкретное содержание исторической схемы, которую использовали авторы советского периода, конечно, сильно изменилось по сравнению с эпохой господства культурно-исторической школы, сохранилась общая установка вписывать политическую позицию писателей в заранее известный нарратив о постепенном развитии общества — на сей раз в направлении революционных организаций. И общественные, и литературные процессы при таком подходе фактически описывались как полностью лишённые автономии и лишь отражающие политическую борьбу (впрочем, обычно за особо выдающимися писателями признавалась способность изображать ведущие к прогрессивным переменам общественные процессы «вопреки» собственной позиции). Подобные взгляды, восходящие к сильно упрощенным идеям М.А. Лифшица и Д. Лукача, см.: [Добренко, Тиханов, 2011, с. 287–291], довольно скоро оказались политически

одобряемым «мейнстримом» советской литературной критики и науки о литературе. В окончательно выродившемся виде этот подход, широко представленный в советских работах, сводился к разделению писателей на «прогрессивных» (т.е. способствовавших или/и сочувствовавших революции) и «реакционных» (т.е. не способствовавших и не сочувствовавших ей). Именно он на десятилетия дискредитировал саму постановку проблемы о социальных функциях литературы: многие порожденные им штампы до сих пор встречаются, например, в школьном преподавании литературы и вызывают заслуженно негативное отношение. Как кажется, именно этим налетом «советскости» во многом и вызвано отторжение, которое социологические теории вызывают у многих современных российских историков литературы.

Однако в работах советского периода предлагались и другие подходы к социальным проблемам истории литературы. Пожалуй, наиболее известным из них остается теория «литературного быта», сформулированная Б.М. Эйхенбаумом и развитая его учениками. Вопреки распространенному мнению, представители ОПОЯЗа не ограничивались анализом формальной природы литературных произведений. Эйхенбаум прямо утверждал, что его работа отвечает на вызовы, связанные с необходимостью проанализировать специфику литературы и литературности как автономного (пользуясь языком самого Эйхенбаума, «специфического») социального феномена. В этой связи исследователь предлагал описывать литературу прежде всего не как замкнутую в себе систему, а как сложный комплекс отдельных «сдвигов», разрывов и противоречий, для понимания которого внешние факторы подчас могут становиться не менее значимыми, чем внутренняя, имманентная логика развития:

Можно сказать решительно, что кризис сейчас переживает не литература сама по себе, а ее социальное бытование. Изменилось профессиональное положение писателя, изменилось соотношение писателя и читателя, изменились привычные условия и форма литературной работы — произошел решительный сдвиг в области самого литературного быта, обнаживший целый ряд фактов зависимости литературы и самой ее эволюции от вне ее складывающихся условий. Произведенная революцией социальная перегруппировка и переход на новый экономический строй лишили писателя целого ряда опорных для его профес-

сии (по крайней мере в прошлом) моментов (устойчивый и высокого уровня читательский слой, разнообразные журнальные и издательские организации и пр.) и вместе с тем заставили его стать профессионалом в большей степени, чем это было необходимо прежде. <...>

Естественно, что при таком положении особую остроту и актуальность получили именно вопросы литературно-бытового характера, и самая группировка писателей пошла по линии этих признаков. На первый план выступили факты не столько эволюции (как она, по крайней мере, понималась прежде), сколько *генезиса*, а тем самым перед литературной наукой встала новая теоретическая *проблема* — *проблема соотношения фактов литературной эволюции с фактами литературного быта* [Эйхенбаум, 1987, с. 429–430].

Изучение «быта», к которому призывал Эйхенбаум, по преимуществу сводилось к описанию литературы как социального института, включая такие проблемы, как социальный статус писателя и писательской профессии, развитие средств коммуникации, литературный рынок, системы патронажа и проч. Этими проблемами на рубеже 1920–1930-х годов активно занимались ученики и последователи Эйхенбаума. В частности, С.А. Рейсер и М.И. Аронсон в своей книге предложили анализ роли кружков и салонов в развитии русской литературы; почти одновременно выходит посвященный той же теме сборник статей под редакцией Н.Л. Бродского [Аронсон, Рейсер, 1929; Бродский, 1930]³.

В ином направлении развивалась в те же годы мысль другого крупного представителя ОПОЯЗа — Ю.Н. Тынянова. Он предполагал сосредоточиться не на роли, казалось бы, внешних элементов в конструировании литературного ряда, а на тех феноменах, которые обеспечивают независимость литературы, несводимость ее к влиянию этих элементов. Разумеется, подход Тынянова был направлен прежде всего против классового анализа «переверзевского» типа и других тенденций советской критики, склонных сводить все многообразие форм социальной и литературной жизни к отражению классовой борьбы или революционных процессов. Именно в этом смысле надо понимать финал знаменитой статьи «О литературной эволюции» (1927):

³ См. также главу 3 наст. изд.

Эволюционное изучение должно идти от литературного ряда к ближайшим соотнесенным рядам, а не дальнейшим, пусть и главным. Доминирующее значение главных социальных факторов этим не только не отвергается, но должно выясниться в полном объеме именно в вопросе об эволюции литературы, тогда как непосредственное установление «влияния» главных социальных факторов подменяет изучение эволюции литературы изучением модификации литературных произведений, их деформации [Тынянов, 1977, с. 281].

Таким образом, Тынянов вовсе не отрицал необходимость изучать место литературы среди многочисленных форм и институтов общественной жизни, однако видел цель такого исследования, скорее, в анализе внутренних принципов и норм, характерных для института литературы (подробнее см.: [Lovell, 2001]).

Теоретическая мысль Тынянова и Эйхенбаума в области общественных функций литературы оказалась значительно больше востребована социологами, чем филологами (речь, разумеется, идет не об официозных советских литературоведах, а о тех авторах, которые пытались разрабатывать новые системы категорий и концептуальные схемы для описания истории литературы). Неслучайно именно этот аспект их идей практически не привлекал, например, представителей Тартуско-московской школы, несмотря на их огромный интерес к наследию формалистов. Дело здесь, видимо, далеко не только в цензурных ограничениях. Как представляется, для многих исследователей проблема общественных функций литературы вообще не воспринималась как актуальная и заслуживающая описания. Показательно, например, что даже в те годы, когда их труды уже не подвергались цензуре, представители этого направления избегали постановки научных проблем в социальных категориях: вместо «общества» их интересовала, скорее, «культура». При этом в сферу изучения культуры попадали многие вопросы, которые для современного читателя очевидным образом хотя бы отчасти входят в сферу интересов социологии — скажем, гендерные роли, которым Ю.М. Лотман посвятил две главы в своих знаменитых «Беседах о русской культуре» [Лотман, 1994, с. 46–89].

Напротив, в социологической среде концепции Тынянова и Эйхенбаума оказались важной точкой притяжения и отталкивания при разговоре о литературе и ее месте в общественной жизни. Показа-

тельно, например, что именно с Тыняновым полемизирует П. Бурдьё в своей знаменитой статье «Поле литературы» [Бурдьё, 2000]⁴. В отечественной социологии работы Тынянова и Эйхенбаума оказались исключительно значимы для исследовательского проекта группы московских социологов, включавшей Б.В. Дубина, Л.Д. Гудкова, Н.А. Зоркую, А.И. Рейтблата и других исследователей. Они воспринимали собственные исследования отчасти как продолжение тыняновских статей по истории литературы, а отчасти как их критический пересмотр. Так или иначе, именно Тынянов оказался в числе едва ли не наиболее значимых отечественных предшественников для российских социологов: неслучайно в переиздание фундаментального труда по социологии литературы (впервые вышедшего в 1994 г.) были включены статьи о формалистах и их концепции развития литературы, см.: [Дубин, Гудков, 2020, с. 500–558].

Масштабные планы Дубина, Гудкова и их единомышленников подразумевали социологическое описание и собственно литературы как социального института, «основное функциональное значение которого полагается нами в поддержании культурной идентичности общества» [Там же, с. 47]. Для выполнения этой основной функции, по мнению исследователей, необходима была не только «высокая» литература, но и другие тексты самых разных природы и жанра. Описывая социальные функции литературы, социологи предполагали охватить широчайший спектр проблем — как в хронологическом, так и в тематическом плане. Грубо говоря, литература оказывалась одним из основных способов, с помощью которых стремительно усложняющееся общество Нового времени могло осмыслять себя и свою структуру, давая возможность индивиду найти свое место в новом социальном порядке. Социологическая история русской литературы, которую предполагалось сконструировать, должна была охватывать фактически все Новое время, затрагивая самые разные явления, от собственно поэтики литературных текстов до книгоиздания (включая, например, оформление обложек). По словам самих исследователей,

⁴ Впрочем, французский социолог, как кажется, игнорирует приводимые выше утверждения Тынянова о необходимости сопоставления литературы с другими «рядами».

<...> пределом социологической работы будет выявление, описание и объяснение различных систем культурных значений, форм их записи (смысловых взаимосвязей, их аналитических конструкций) и трансформации тех или иных культурных регулятивных механизмов, т.е. ценностно-нормативных образований и конфигураций [Дубин, Гудков, 2020, с. 49].

Литература при этом оказывалась в особом положении: с одной стороны, она трактовалась, конечно, не как абсолютно самостоятельный феномен, а как часть процесса модернизации; с другой стороны, именно литература (по крайней мере, в России) оказалась одной из ключевых частей этого процесса. Таким образом, ее социологическое описание могло оказаться исключительно значимым не только для понимания закономерностей литературного процесса, но и для осмысления специфики модернизации в российских условиях, описания социальных иерархий (например, сложных отношений между «интеллигенцией» и «народом»), изучения того, как современные ценности распространяются среди членов разных групп, как складываются и трансформируются поколенческие, гендерные и другие идентичности.

Хотя масштабный проект группы социологов, задуманный еще в 1980-е годы, так и не был в полной мере реализован, некоторые из поставленных проблем оказались в центре внимания А.И. Рейтблата, чьи труды по истории и социологии русской литературы остаются в числе наиболее значимых в своей области. В обобщающей статье «Русская литература как социальный институт» Рейтблат моделирует литературу как взаимосвязанный набор социальных ролей писателя, читателя, цензора, редактора, издателя, книготорговца, критика, журналиста, литературоведа, педагога и библиотекаря [Рейтблат, 2014, с. 13–15]. Впрочем, в отличие от своих коллег, Рейтблат в большей степени сосредоточился не на описании общих проблем социологии литературы, а на более конкретных темах, связанных с историей литературы, журналистики и цензуры. Соответственно, эволюция института русской литературы от петровских преобразований до революций 1917 г. представлена в этой модели как постепенная профессионализация и институционализация каждой из ролей и постоянное изменение соотношений между ними в рамках социальной системы. Для исследователя литература также оказалась одним из наиболее значимых институтов в становлении современного общества, с его отказом от безоговороч-

ного воспроизводства единственной традиции. Интерес к разнообразию социальных ролей, предлагаемых современным обществом, стал естественной причиной, почему Рейтблат в своих работах отходит от сложившегося историко-литературного нарратива и обращается к фигурам, институтам и формам коммуникации, которые обычно считаются маргинальными и оцениваются сугубо негативно — например, к «беллетристам» наподобие Ф.В. Булгарина, авторам «низовой» словесности типа Н.Я. Зряхова, к цензорам и агентам III отделения и проч. По мысли Рейтבלата, только учитывая взаимодействие всех этих лиц, организаций и групп, возможно корректно описать социальную историю русской литературы. Наш подход, скорее, близок к методам Рейтבלата, поскольку подразумевает не создание масштабного нарратива, охватывающего социальную историю литературы на протяжении нескольких веков, а анализ отдельных узловых проблем, связанных с эволюцией института литературы. Как представляется, такой подход в наших условиях позволяет избежать смешения описательных и нормативных аспектов изучения проблемы, когда исследователи декларируют «типичное» или «правильное» состояние объекта изучения и видят аномалию в том, с чем сталкиваются в ходе исследования.

Параллельно с возрождением социологического подхода к изучению литературы в позднем СССР многие западные слависты, хотя и в совершенно иных институциональных условиях, также предпринимали попытки представить в этой оптике историю русской литературы XIX в. До сих пор сохраняют актуальность исследования У.М. Тодда III, прежде всего его книга, посвященная литературным институтам в Российской империи первой половины XIX в.⁵ Тодд рассматривает сменявшие друг друга институциональные формы, в которых бытовала русская литература (светский салон, дружеский кружок и профессиональное писательство), и демонстрирует, каким образом они определяют поэтику и проблематику таких текстов, как «Евгений Онегин», «Герой нашего времени» и «Мертвые души»⁶. Российскую ситуацию Тодд

⁵ В русском переводе [Тодд, 1996] слово «институты» исчезло из подзаголовка оригинальной монографии [Todd, 1986].

⁶ См. также недавний русский перевод избранных статей Тодда [Тодд, 2020], в которых много говорится о толстом журнале как важнейшем литературном институте имперской России. См. об этом: [Martinsen, 1997].

воспринимает на фоне западноевропейской, где, по его мнению, общество оказалось намного более развитым — что, впрочем, не означает автоматически, будто русская литература качественно уступала, например, английской. Отдельные институты литературы рассматривались в работах, посвященных, например, толстым литературным журналам или газетам в Российской империи [McReynolds, 1991; Martinsen, 1997; Frazier, 2007]. В то же время сколько-нибудь полной социальной истории русской литературы в Европе и США написано не было.

Так или иначе, в мировой науке о литературе социальная история стала давно сложившимся и развитым направлением исследований. Наиболее показательный пример — многотомное издание «Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart», посвященное немецкой литературе с XVI в. до наших дней и выходящее в издательстве «Carl Hanser» с 1980 г. Эта монументальная работа включает подробные описания государственной политики в области литературы, культуры и образования, общественной роли отдельных литературных жанров, характеристику основных читательских групп и проч. Отдельные разделы о социальной истории включаются и в популярные работы о русской литературе, такие, например, как недавняя оксфордская «История русской литературы», см.: [Kahn, Lipovetsky, Reyfman, Sandler, 2018, p. 348–351]. Отдельный том будет посвящен институтам и в готовящейся в настоящее время «Новой кембриджской истории русской литературы». В то же время в отечественных историях литературы социальная история в целом до сих пор представлена лишь в незначительной степени и, за некоторыми исключениями, находится в зачаточном состоянии. Неслучайно социальные проблемы очень редко упоминаются в недавних дискуссиях, посвященных принципам описания и построения истории русской литературы XVIII–XIX вв., см., например: [Виролайнен, 2017]. Хотя в последние годы выходит немало работ — о связях литературного процесса в России с императорским двором [Осповат, 2020], о своеобразном развитии публичной сферы в Российской империи [Несовершенная публичная сфера..., 2021] и др., эти попытки, несмотря на свою значимость, обычно посвящены одной (и довольно короткой) исторической эпохе или одной проблеме институционального развития литературы. Социальная история русской литературы по-прежнему остается делом далекого будущего.

Опираясь на эту научную традицию, авторы монографии рассматривают такие поворотные моменты в институциональной истории русской литературы, как возникновение новых зон автономии в рамках государственного патронажа в истории литературных обществ 1810–1820-х годов (глава 3), учреждение Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым в 1859 г. (глава 9), возникновение в России такого важного для всех модернизирующихся государств «институционального элемента», как первая примерная программа по литературе для средних учебных заведений (глава 11).

Таким образом, по сравнению с существующими работами о литературе как социальном институте и литературных институциях в России второй половины XVIII–XIX вв. предлагаемая монография включает в исследование гораздо большее число литературных и смежных с ними социальных институтов, литературных организаций и государственных учреждений, чем прежде. В то же время авторы глав стремятся уйти от некритического описания отдельных «фактов» и объяснить логику развития или кризиса того или иного литературного института в широком социокультурном контексте. Макроуровень, как правило, сочетается в таких случаях с микроуровнем: авторы основывают свои объяснения на обширном архивном материале из 15 крупнейших российских архивохранилищ, который позволяет реконструировать принятие решений и механику работы таких больших организаций, как цензурное ведомство, Генеральный штаб военно-учебных заведений, Литературный фонд или Комиссия по устройству народных чтений.

Наконец, за обобщенным и насыщенным институциональным контекстом авторы не забывают и о людях, действующих и творящих в рамках описываемых институтов. Так, главы 7 и 12 представляют собой «case studies» — исследование взаимодействия различных институциональных ролей в поведении и творческой практике двух известных писателей середины XIX в. — Ивана Гончарова и Льва Толстого. Помимо этого, во многих главах крупным планом представлены эпизоды из жизни далеко не последних деятелей русской словесности — А.С. Шишкова, А.Д. Галахова, А.В. Дружинина, И.И. Панаева, А.Н. Островского и др.

Каждая из частей монографии в той или иной мере отражает хотя бы один или несколько описанных аспектов. Первая часть посвящена

развитию современных институтов литературы в России XVIII и начала XIX в. Первые две главы (написанные А.А. Костиным) проблематизируют традиционный, типично интерналистский, нарратив о возникновении русской поэзии под пером Тредиаковского, Сумарокова и Ломоносова. Для того чтобы вернуть в историю литературы институциональный контекст, автор главы описывает не только высокопоставленных меценатов, покровительствовавших литературе, но и техники книгопечатания и чтения. Пристальное внимание к фигуре читателя и потребителя книг, в том числе поэтических, исследование его запросов (на архивном материале) показывает, что первоначально новая поэзия с ее новыми светскими жанрами мало читалась образованной публикой, и лишь постепенно складывались новые институциональные рамки для привычных в более поздние периоды форм потребления поэзии. Другие границы и стыки между социальными институтами в XVIII в. диктовали и другие условия создания и потребления текстов, отсюда и другие принципы организации самих текстов. Первый раздел, в частности, показывает, как укоренена в институциональных механизмах своего времени реформа стихосложения. Второй раздел демонстрирует это на примере категории вымысла («вымышленный» и «вымышленности»), которая изначально была юридическим понятием (институт судопроизводства) и лишь постепенно приобретала более современное значение воображаемого мира художественного произведения.

Глава 3 А.С. Бодровой посвящена проблематизации и анализу положения двух крупных литературно-просветительских обществ александровской эпохи — Императорской Российской Академии и Вольного общества любителей российской словесности (ВОЛРС). Исследуя средства достижения целей и логику принятия административных решений, А.С. Бодрова показывает, как эти организации в 1816–1818 гг. оказались в ситуации едва ли не прямой конкуренции, когда обе пытались добиться высочайшего утверждения своих новых уставов и институционально закрепить позиции. Микроистория этого столкновения позволяет утверждать, что конкуренция внутри поля литературы и в публичной сфере на этом этапе развития институтов литературы неотделима от конкуренции за гетерономные (пользуясь термином Бурдьё) привилегии — приобретение государственного ресурса. Таким образом, публичная сфера пока не

автономна от государства, несмотря на существование общественных форм, казалось бы, гарантирующих эту автономию.

Вторая часть монографии посвящена изучению, каким образом разработка новых форм социальной коммуникации приводит к качественным сдвигам в публичной сфере, распространению новых интеллектуальных, политических и литературных практик. Здесь в центре внимания оказываются философские и литературные кружки 1830–1840-х годов (глава 4) и прежде всего толстые литературные журналы (глава 5). Такой подход тесно связан с исследовательским подходом уже цитировавшегося выше Роже Шартье, утверждавшего, что именно распространение книгопечатания и современной литературы готовило почву для политических и интеллектуальных потрясений эпохи Великой французской революции.

Глава 4 М.Б. Велижева посвящена микросоциологическому и институциональному анализу одного из первых эпизодов в истории соперничества московских «западников» и «славянофилов» — спорам зимы 1839–1840 гг. Автор подвергает анализу саму инфраструктуру полемики, связанную с эволюцией публичной сферы в России, и приходит к выводу, что представители разных взглядов на русское прошлое конкурировали между собой в разных общественных пространствах: в светских салонах и в университетских аудиториях полемика велась по принципиально несовпадающим правилам, и без учета этих правил едва ли возможно понять ее ход. Внимание к этой стороне знаменитой полемики, чрезвычайно важной и для истории русской литературы, позволяет показать, что конфликт возник не столько из-за существования двух лагерей, сколько из-за изменения правил, по которым было принято дискутировать. В связи с этим конфликт разгорелся не только между «западниками» и «славянофилами», но и внутри лагеря «западников» (между Бакуниным и Грановским). Можно предполагать, что эта матрица оказала сильное влияние на последующие литературные, публицистические, философские и политические полемики на страницах толстых журналов.

Глава 5 Е.И. Вожик посвящена социальным функциям жанра фельетона в журналах начала 1850-х годов — жанра, успех которого долгое время казался историкам журналистики и литературы прежде всего результатом наступившего после 1848 г. общего разоча-

рования в возможности политического действия. Автор предлагает альтернативный взгляд на функции фельетонного жанра, который мог использоваться, чтобы проблематизировать сами границы литературы, ее природу, устройство и способы воздействия на читателей. В этом смысле фельетон постепенно расширял границы своего влияния и превращался в лабораторию, где вырабатывались новые правила письма. Если гипотеза автора верна, то развитие новых форм фельетона подготовило политизацию русской журналистики — возможности для этого открылись во второй половине 1850-х годов.

Третья часть монографии переключает внимание читателя на сложное взаимодействие государства и публичной сферы, во многом задавшее рамки для развития литературы. Авторы соответствующих глав стремятся продемонстрировать, что отношения государственных и общественных институтов нельзя сводить к подавлению последних первыми, а история их взаимодействия намного более сложна, чем традиционный нарратив о медленном, но неостановимом процессе либерализации прессы и освобождения общества из-под давящего «гнета».

Глава 6 К.Ю. Зубкова посвящена взаимодействию институтов литературы, цензуры и театра. Согласно широко распространенному представлению о цензуре, сотрудники соответствующих ведомств прежде всего интересовались политическим смыслом рассматриваемых произведений. В действительности, однако, цензоры постоянно оценивали произведения не только в политическом, но и в эстетическом и нравственном отношении. В главе рассматриваются категории «нравственности» и «приличия», которыми часто оперировала драматическая цензура в Российской империи. В этом смысле российская цензура не была исключением: схожие проблемы беспокоили, например, английских и французских цензоров этого периода, специфика работы которых учтена в главе. Сотрудники драматической цензуры постоянно искали в рассматриваемых произведениях не только возможные угрозы государству, но и нарушения «приличий», особенно в том, что касалось представлений привилегированных слоев общества о сексуальной жизни и семейных ценностях. В главе показано, что на протяжении XIX в. представления цензоров об обществе, его стратификации и нормах менялись, а вслед за ними изменялись и принципы интерпретации драматических произведений. Если в эпоху Николая I цензура считала себя вправе диктовать

почти всем сословиям, кроме светских дам, что считать приличным, то к середине 1860-х годов цензоры пытались учесть различные представления о морали, характерные для многообразных социальных групп, посещавших театры.

Проблема цензуры и ее неоднозначных связей с литературой поднимается и в главе 7 С.Н. Гуськова, где объектом исследования становится сложное взаимодействие служебной карьеры и творческого пути И.А. Гончарова. Расхожее мнение об антагонизме службы и творчества, социальных ролей писателя и чиновника в судьбе Гончарова его биографией не подтверждается. Анализ охватывает весь период службы Гончарова (с 1835 по 1867 г.) и его различные произведения (от рассказов и повестей 1830-х годов до романа «Обрыв» и более поздних литературно-критических и мемуарных текстов). В главе затронуты различные аспекты взаимодействия служебного и творческого в судьбе писателя на социологическом, стилистическом и идеологическом уровнях. Автор демонстрирует влияние связанных со службой стилистических ресурсов на тексты Гончарова, воздействие служебных обстоятельств на эволюцию жанровой системы художественных произведений, корреляцию правительственной политики и творческой истории романа «Обрыв».

В главе 8 А.С. Федотова предпринимается попытка поместить в общую рамку разные события из истории русского театра второй половины XIX в. — деятельность Театрально-литературного комитета и комитета Уваровской премии для драматургов, празднование 100-летнего, а затем 200-летнего юбилеев русского театра (вопреки здравому смыслу, эти даты отмечались с интервалом отнюдь не в 100 лет), организацию Общества русских драматических писателей, отмену императорской монополии на театральные представления в столицах и др. Кризисы одних инициатив и успех других становятся понятны, если видеть за ними общее движение театральной сферы к автономии, свободе от государственного контроля. Любопытным сопутствующим процессом стала борьба за собственно художественную автономию театра и театральности. В издании показано, что театр (во главе с А.Н. Островским) в пореформенное время сопротивлялся попыткам навязать ему экспертизу, руководствующуюся внешнеположными по отношению к театру критериями. Парадоксальным образом эта борьба была направлена на утверждение особого статуса драматур-

гии — как сферы художественного производства, коренным образом отличающейся от литературы, беллетристики. Таким образом, движение к хозяйственно-организационной независимости оказалось прочно связано с движением к художественной автономии.

Четвертая часть книги посвящена развитию писательских сообществ во второй половине XIX и начале XX в. Само по себе это развитие указывает на значительную дифференциацию литературы как института начиная с 1855 г. Среди этих сообществ одно — Литературный фонд — носило вполне официальный характер, имело формальные правила и принципы работы и представляло собой профессиональную организацию, объединившую самых разных писателей. Напротив, у неформального института богемы не было никаких правил и четкого определения.

Часть открывается главой 9 М.С. Макеева о возникновении в России в 1859 г. и долгой работе Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературного фонда), которое традиционно рассматривают в аспекте благотворительности как проявление и доказательство присущих русской литературе и отдельным ее представителям гуманности и милосердия. Макеев предлагает, однако, под другим углом взглянуть на эту организацию — как на институт, возникший в результате фундаментальной трансформации поля литературы в России и профессионализации позиции литератора. Изучение повседневной практики Литературного фонда на большом архивном материале позволяет автору главы увидеть и проследить, как меняется, даже практически заново вырабатывается понимание того, что такое писатель, в чем смысл и ценность его работы в России второй половины XIX в.

Глава 10 А.И. Рейтблата посвящена социологической характеристике и объяснению феномена литературной богемы в русском обществе второй половины XIX в. Опираясь на обширный мемуарный и фактический материал по биографиям и профессиональным траекториям второстепенных литераторов той эпохи, помещая его в широкую компаративную перспективу, автор приходит к выводу о значительном отличии российской богемы от европейской (в том числе французской). Если в Европе богема ориентировалась на элитарную публику, то в России 1860–1880-х годов сложился средний слой литераторов — сотрудников средних и низовых изданий, адресованных

массовой аудитории. В главе прослеживается, благодаря каким условиям образовалась эта литературная прослойка, каковы были ее социальные функции и значение для русской литературы.

Наконец, часть V посвящена роли литературы в многочисленных образовательных проектах, столь значимых для русской культуры начиная с «Великих реформ» вплоть до первых десятилетий XX в. В центре внимания авторов оказывается не методика преподавания словесности, а то, каким образом литература участвует в сложных отношениях образованных людей и объектов их просветительской деятельности, как способствует конструированию сообществ, таких как «народ» или «интеллигенция». В то же время подчеркивается, что и сами эти сообщества обладают принципиальным значением для позиции отдельных писателей, в частности Л.Н. Толстого.

В центре главы 11 А.В. Вдовина оказывается институциональный контекст и генезис двух педагогических «проектов» А.Д. Галахова — «Полной русской хрестоматии» (1843) и «Программы и конспекта русского языка и словесности» (1852), рассмотренных одновременно через призму институциональной истории и генеалогии литературного образования. Ключевой вопрос: каким образом и почему оба проекта Галахова (хрестоматия и программа) родились не в недрах Министерства народного просвещения (но быстро были им апропрированы), а в соседних ведомствах — институтах женского и военного образования? Этот кейс не только ведет автора к сюжету о конкуренции ведомств и институтов в николаевской России, но и выводит к более общей методологической проблеме — как описывать развитие литературных институтов в период их становления в России 1830–1850-х годов.

Следующая глава (12), Ю.И. Красносельской, выдвигает на первый план случай Л.Н. Толстого. В отличие от Гончарова, вынужденного служить и совмещать писательство с цензорской службой, Толстой обладал аристократическим происхождением и достаточным капиталом, чтобы заниматься «чистым творчеством», однако его все время тянуло перемещаться между различными институтами. В фокусе внимания автора главы — известный педагогический проект писателя начала 1860-х годов (яснополянская школа и журнал «Ясная Поляна»), его попытка перестроить формы и цели народного образования. Автор объясняет, как и почему толстовское желание

заменить сосредоточенные на собственной выгоде литературные органы сообществом единомышленников, занятых полезной практической деятельностью в области народного просвещения, оказалось нереализованным. Такой анализ позволяет по-новому взглянуть и на связанные с проблемами просвещения произведения Толстого, такие как хрестоматийное «Детство».

Завершает книгу глава 13 Я.Я. Агафоновой, где предпринята попытка максимально полно описать возникновение и поддержание в России второй половины XIX в. института народных чтений. Глава эта отчасти подхватывает проблематику работы Ю.И. Красносельской, но фокусируется не на деятельности отдельного автора, а на работе целой организации — комиссии, занимавшейся разработкой и проведением народных чтений. По сути, перед нами — история самого масштабного внешкольного научно-популярного образовательного проекта в дореволюционную эпоху. Автор главы, обращаясь к обширному, никогда ранее не систематизированному материалу — изданиям для чтений, иллюстрациям и проч., последовательно рассматривает феномен народных чтений как особого института, смежного с литературным, описывает инфраструктуру этой новой читательской практики, подробно характеризует литературу, вошедшую в репертуар народных чтений, и пытается очертить портрет того «низового читателя», на которого они были ориентированы.

На протяжении двух лет исследовательский коллектив имел счастливую возможность обсуждать гипотезы и основные положения будущих статей и глав между собой и на круглых столах и конференциях в ИРЛИ РАН, ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, а также на специальной секции The Association for Slavic, East European and Eurasian Studies в 2019 г. Авторы благодарят рецензентов Ю.А. Сафронову и Е.Н. Пенскую за ценные и полезные рекомендации и замечания, а также Екатерину Вожик, проделавшую огромную работу по оформлению и технической подготовке рукописи.

А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков

Часть I
СТАНОВЛЕНИЕ
ИНСТИТУТОВ
ЛИТЕРАТУРЫ
В РОССИИ XVIII —
НАЧАЛА XIX в.

Глава 1

Открытость поля поэзии, или Поэзия как товар⁷

А.А. Костин

Задача первых двух глав этой части — продемонстрировать проблемность, неавтоматичность квалификации в качестве «литературы» того корпуса русских текстов XVIII в. (и стоящих за ними социальных и дискурсивных практик), который был канонизирован в 1930-х годах (не без опоры на дореволюционные историко-литературные нарративы) Г.А. Гуковским в университетском курсе и сопровождавших его хрестоматиях [Хрестоматия, 1935; Русская литература, 1937; Гуковский, 1939]⁸. Строящийся преимущественно вокруг печатных стихотворных (поэтических) сочинений и поэтологических метатекстов, этот корпус делает почти невидимой (особенно за пределами последней четверти XVIII в.) прозу и особенно нефикциональные прозаические нарративы. Как показывает критический анализ метапоэтического языка середины XVIII в. [Осповат, 2020], во многом воспроизводящаяся до сих пор «конструкция Гуковского» оказывается зависимой от тех различий «литературного»/«нелитературного», «просвещенного»/«непросвещенного», которые использовались авторами этой эпохи и активно принимались публикой (не без мягкого принуждения, заложенного в механизм различения

⁷ Сокращенная версия главы опубликована в работе: [Костин, 2020а].

⁸ Выпущенная впервые в 1935 г. «Хрестоматия...» переиздавалась в 1936, 1937 (дважды) и 1938 гг. При всей вариативности более поздних советских и постсоветских хрестоматий [Хрестоматия..., 1952; Русская литература..., 1970; Русская литература..., 1979; Русская литература..., 1985; Гуськов, 2013] и др., зависимость их от корпуса, отобранного Гуковским, представляется мне бесспорной. О реставрирующей имперский канон позиции Гуковского в спорах начала 1930-х годов о путях изучения русской литературы XVIII в. см.: [Костин, 2009]; положения этой статьи, героизирующие позицию Гуковского, на мой взгляд, сейчас нуждаются в пересмотре, в частности, представляется необходимым учитывать (также во многом следующие за историко-литературной работой имперского периода) усилия Гуковского по введению в литературный канон «демократических» сочинений XVIII в., отразившиеся, в частности, в хрестоматиях А.В. Кокорева 1950-х годов, но отвергнутые, по большому счету, к концу 1960-х (см. об этом: [Костин, 2018]).

«достойного»/«недостойного» человека как читающего/не читающего «достойные» книги). Между тем сама возможность введения этих различий была обусловлена возможностью (и существованием) иных модусов письма и чтения, проигравших, возможно, не в последнюю очередь оттого, что не полагали существенным производство метатекстов (или создавали их для областей интеллектуального труда, отделенных для сегодняшнего историка литературы от «литературы»). Первые две главы отчасти решают эту проблему, показывая, с одной стороны, маргинальное положение стихотворства в России на протяжении всей первой половины XVIII в., а с другой — значимость таких поэтологических категорий, как «вымысел», «слава» и «стиль», для «нелитературных» сфер интеллектуального труда (юридическое представительство, административное прожектерство, канцелярский труд).

* * *

В 1735 г. в Петербурге была напечатана брошюра, на титульном листе которой значилось: «Речь, которую в Санктпетербургской Императорской Академии наук, к членам Российского Собрания, во время первого оных заседания, марта 14 дня, 1735 года, говорил Василий Тредиаковский Санктпетербургския Императорския Академии наук секретарь». Первое, что видел читатель этой брошюры, перевернув титульный лист, была заставка, награвированная в Берлине Антоном Бальтазаром Кёнигом (рис. 1.1). В центре изображения одна стройная обнаженная мужская фигура подходила к другой, немного скрюченной и стоящей с поднятыми руками у дерева. По атрибутам можно понять, что это Аполлон идет свежевать Марсия.

Было бы бессмысленно скрывать, что мы не понимаем, почему и как именно в этом петербургском издании оказалась заставка, специально сообщавшая о месте создания и создателе («König fecit Berlin»). Надежно можно говорить, однако, что эта неожиданная географическая привязка и несомненно сильное визуальное высказывание, заявляющее об открытии нового учреждения через образность насилия, маркировали важность сказанного на этих 16 страницах.

Интерпретационная открытость эмблемы не дает, однако, ухватить смысл высказывания. Сатир, решивший, что собственным искусством достиг возможного совершенства в музыке, и наказанный

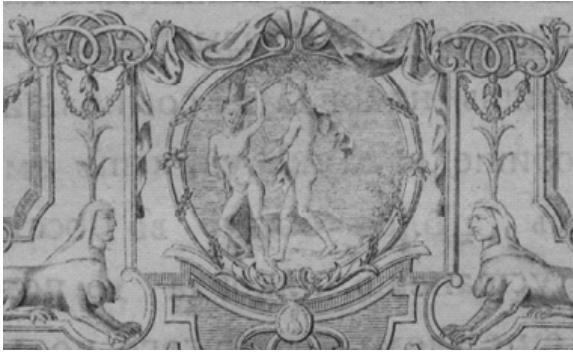


Рис. 1.1. Заставка к «Речи... к членам Российского собрания»
В.К. Тредиаковского (СПб., 1735. Фрагмент)

за брошенный богу вызов на состязание, в котором был сражен искусством более высоким, мог служить идеальной эмблемой не только культурного обновления или победы наук над невежеством, но и наказания гордых и дерзких и т.д. Так в аллегорике петровского времени (триумфальные врата 1709 г.; Большой каскад Петергофа) изображение Марсия оказывалось одним из способов прославить военные победы Петра над его дерзкими врагами (см.: [Федорова, 1959; Тюхменева, 2005, с. 186–187; Тихомирова, 1984, с. 206; Подтергеря, 2008, с. 267]), между тем как в петровских «Символах и эмблемах» эмблема «Аполлон свежует Марсия» ('Apollo vilt Marsyas', № 444) трактовалась через девиз «Заступщик наукам» ('Vindicat artes') [Symbola et emblemata..., 1705, p. 148–149].

Историку литературы очень заманчиво увидеть здесь эмблему прихода новой русской литературы или уж, во всяком случае, поэзии. Во всех сочинениях Тредиаковского 1735–1736 гг. ни одна другая тема (кроме похвал императрице и президенту Академии наук) не звучала так отчетливо, как предложенная им «реформа русского стиха», причем во всех случаях в связи с трудами того самого органа Академии — Российского собрания, — на открытии которого была произнесена интересующая нас речь. В «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (1735) Тредиаковский обращался к двум группам читателей — «искуснейшим» (знакомым с теорией стиха на других языках) и «упражняющимся» (создающим стихи на рус-

ском языке). И тем и тем предлагалось «старые наши стихи освидетельствовать и, по правде ли те носили имя стихов донныне, разыскав, уведать» [Тредиаковский, 1963, с. 363]. Силлабическое стихотворство оказывалось здесь тем самым Марсием — попадающим (не по своей, впрочем, воле) на суд муз и за самозванчество лишаемым кожи и жизни («носившееся» ранее «имя стихов» должно быть с силлабики снято).

Появляющийся в этой конструкции суд публики, или признающая априорной невозможность сосуществования различных версификационных принципов, или соотносимый с некоторыми вариантами мифа о Марсии довод о большей напевности как решающей в споре, — все это представляет несомненный интерес для историка литературы, и вместе с тем остается не вполне понятным, насколько рассматриваемый кейс поддается стандартному историко-литературному нарративу.

Любому, соприкасающемуся с историей русского стиха или поэзии середины XVIII в., хорошо известна схема: Тредиаковский предлагает введение стопы в длинный русский стих — после возражений и уточнений Кантемира и Ломоносова конца 1730-х годов продуктивность признается за силлабо-тоникой — ситуацию закрепляет в 1743 г. соревнование Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова по переложению (ямбом или хореем) 143-го псалма — в дальнейшем стих развивается за счет экспериментов со строфикой и метром, причем постепенно нарастает свобода ритмических форм относительно жесткого метрического рисунка [Тарановский, 2000; Гаспаров, 2000, с. 58–87; Холшевников, 2004, с. 21–21; Хворостьянова, 2008]. При всей справедливости этой схемы попытки применить ее на более широком (достаточно хорошо описанном) материале показывают, что мы вынуждены либо отказываться в названии «поэзия» (стихи) всему, что выпадает за ее пределы, либо признать, что она не работает (или, во всяком случае, работает ограниченно).

Глядя на события 1730–1750-х годов глазами все еще ждущего казни Марсия, мы могли бы увидеть, что складывающаяся из них история развивалась заметно иначе, чем предполагала ее героическая визуальность. В своей речи 14 марта 1735 г. Тредиаковский говорил среди прочего (и именно так она привычно читается) о задачах, стоящих перед членами впервые собранного Российского собрания:

Не о едином тут чистом переводе степенных, старых и новых, авторов дело идет <...>. Но и о Грамматике доброй и исправной, согласной мудрых употреблению и основанной на оном <...> но и о дикционарии полном и довольном <...> но и о Риторике, и Стихотворной науке, что все чрез меру утрудить вас может [Третьяковский, 1735, с. 6–7].

Недоумение, возникающее от сравнения этих задач с известными итогами работы Российского собрания, незаметно прекратившего существование к началу 1742 г., хорошо известно по работам почти всех исследователей, обращавшихся к этим словам Третьяковского (ср.: [Живов, 1997, с. 34; Алексеева, 2009а, с. 577]). Ни грамматика, ни словарь, ни риторика, ни поэтика не только не были напечатаны в 1730-х — начале 1740-х годов; нам неизвестно даже наверняка, занимались ли их подготовкой члены Собрания. Использувавшаяся в академической гимназии конца 1730-х годов грамматика русского языка лишь предположительно атрибутируется В.Е. Адодурову [Успенский, 1975]; нам неизвестно, велась ли работа над ней в рамках трудов Российского собрания (известно, скорее, наоборот, что в 1735–1737 гг. она не велась). Грамматика была опубликована лишь в 1750 г. — в Стокгольме, на шведском языке, без указания источника; русский текст, сохранившийся во фрагментарной ученической записи, был опубликован в 1975 г. В типографии Академии наук академическая русская грамматика на русском языке начала печататься только в 1755 г., автором ее стал М.В. Ломоносов, успевший соприкоснуться с работой Российского собрания лишь как читатель «Нового и краткого способа...» Третьяковского. Тот же Ломоносов в начале 1744 г. подготовил текст, который мог стать первой русской печатной риторикой. В академической рецензии на него, написанной Г.Ф. Миллером, одним из главных недостатков было названо то, что он написан по-русски, а не на латыни — том самом, по-видимому, языке, на котором в 1739 г. риторику поручалось подготовить Я. Штелину. Значительно переработанный текст «Краткого руководства к красноречию» был опубликован Ломоносовым лишь к лету 1748 г. [Блок, Макеева, 1952, с. 790–793, 805–814]. Первые опыты по подготовке большого словаря, который пришел бы на смену Вейсманову 1731 г., начались лишь в 1740-х годах (и завершились в 1780-х годах с созданием нового учреждения — Российской Академии) [Биржа-

кова, 2010, с. 14–17]. Русская печатная поэтика так и не была создана до конца XVIII в.; нет оснований говорить, что сколько-нибудь систематическая работа по ее подготовке велась в Академии наук в 1730–1740-х годах [Алексеева, 2009б].

Новые правила к сложению русских стихов, рекомендованные Третьяковским в речи перед Российским собранием как последний недостающий камень перед написанием поэтики, также оказались (особенно если смотреть на них через оптику суда) почти не востребованными. Для не занятых непосредственно русской поэтической практикой «искуснейших» знатоков поэтической теории (по-видимому, академических стихотворцев-немцев — Юнкера, Лоттера, Штелина) предложенный Третьяковским стих оказался неинтересным: он не решал важнейшей для печатной стихотворной практики Академии задачи — предложить адекватный русский аналог строфе немецкой оды; после нескольких экспериментов уже к 1737 г. Третьяковский в собственных опытах отказался и от положений «Нового и краткого способа...», и вообще от написания стихов [Алексеева, 2004; Харер, 2004; Алексеева, 2005, с. 128–159]. Что до «упражняющихся» в написании русских стихов стихотворцев — «Новый и краткий способ...» оказался лишь (для единиц!) поводом для экспериментов с русским метром (при этом влияние «Нового способа», например, на опыты М.С. Собакина мы лишь предполагаем), а не инструкцией [Алексеева, 2005, с. 153–159]; русская силлабика оставалась живой и продуктивной (как для провинциальных духовных лиц, так и для столичных дворян) вплоть до 1750-х годов [Николаев, 1996, с. 62–66].

Глядя на заставку к речи 1735 г. глазами историка литературы, мы должны признать, что изображенное на ней движение подлинно застыло; нож Аполлона никогда не коснется кожи сатира; обновление литературы случится в другое время и под другой эмблемой⁹. Этот заметный хронологический разрыв между сильным манифестом, который современному исследователю кажется ключевым для эволюции поля литературы, и запоздалой реакцией на него составляет, как кажется, основу одного из важнейших вопросов истории русской

⁹ Будь то встающее над Россией солнце с девизом «Для всех» с титульного листа первого выпуска «Ежемесячных сочинений» 1755 г. или выстроенный по сложной авторской программе виньет на титуле же «Трудолюбивой пчелы» Сумарокова.

литературы. В самом общем виде его можно было бы сформулировать так: «Когда и как в России стихотворство становится воспроизводящейся неритуальной социальной светской практикой, значимой не только для стихотворцев, но и для почти неограниченной публики, где любой читатель оказывается потенциальным стихотворцем?» Иными словами — «Когда и как в России появляется модерная поэзия?» Более частный вопрос, который нас здесь также будет интересовать, звучит так: «Насколько значимыми оказываются при этом ее силлабо-тоническая и печатная формы?»

Разговор о поэзии в терминах социального взаимодействия, а не формы, жанра, миметичности, инстанций воображения и проч. представляется принципиально важным. Нас будет интересовать не столько то, как Феофан, Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков и др. конструировали представления о поэзии как особом типе речи и оправдывали свое обращение к ней, сколько вопрос, как сформированные их сочинениями текстуальные сообщества порождали стихотворные тексты в социальных контекстах, отличных от претекстов.

Читатель и публика в авторском языке середины XVIII в.: избранность, отсутствие, инклюзия

«Новый и краткий способ...» Тредиаковского открывается эпиграфом из Овидия (Fast. VI. 5–6), утверждающим богодухновенность поэзии: «Стихотворчеству нас Бог токмо научает, / И Святой охоту в нас пламенну рождает», а завершается стихами из Буало, отделяющими неспособных от подлинного стихотворства: «Не могу сего терпеть, кто, еще не кстати, / в рифму строки приводя, мнит стихи слагати» [Тредиаковский, 1963, с. 365, 419]. Примечательно, что «краткий и новый способ» нигде не объявляется Тредиаковским простым и не назначается всякому, кто, следуя за ним, захотел бы писать стихи. Наоборот, подчеркивается и трудность открытия новых правил («много прежде положив труда к изобретению прямых наших стихов, сей <...> способ к сложению российских стихов [издал]» [Там же, с. 365]), и ограниченность аудитории книги. Использовать на практике новый «способ» предлагается лишь «упражняющимся» — тем, кто уже имеет стихотворческий опыт. Более того, ближе к концу книги у читателя

может появиться закономерный вопрос — а не условно ли грамматическое множественное число «упражняющихся», не скрывается ли за ними единственный адресат — А.Д. Кантемир, тот самый «при дворе великобританском полномочный министр», которому через многократно повторенное улучшение первого стиха его первой сатиры объявлялось, «коль чрез малую перемену и легкий способ¹⁰ можно из старых наших стихов новые сделать»¹¹ [Тредиаковский, 1963, с. 418]. Закрытость круга творцов и конструирование поэзии как дела, требующего «много труда», следует, как представляется, рассматривать с учетом той принципиальной (и также скорее конструируемой, чем реальной) трудности, которая оказывается центром поэтического труда Кантемира [Николаев, 1996, с. 119–132].

Экстатическая природа поэзии и отказ включать в разговор неспособных отойти от автоматизированной формы стиха, определяющие основания учения Тредиаковского о поэзии, в целом соответствуют тому, как конструировалась инстанция поэтического

¹⁰ «Способ» Тредиаковского, в соответствии с его текстом, будет «легок» только для Кантемира. Во всех прочих случаях употребление этого эпитета предполагает «легкость» (естественность) лишь стоящих за ним принципов: «долгота и краткость слогов в новом сем российском стихосложении <...> тóническая, т.е. в едином ударении голоса состоящая <...> сие <...> всякому из великороссиян легко, способно, без всякой трудности и, наконец, от единого только общего употребления знать можно»; «ежели бы <...> одним звоном голоса надлежало весь стих читать <...> сие бы неприятным весь стих учинило, что искусством всякому легко можно познать»; «через следующую песнь всяк легко увидеть может, как все такие простые наши стихи, которые в меньшем числе состоят слогов, слагаются» [Тредиаковский, 1963, с. 367, 370]. Это легкость взгляда со стороны, но не употребления.

¹¹ В свете этого финального кивка Кантемиру множественное число в открывающем книгу обращении к читателям выглядит особенно удивительным: «Всем высокопочтеннейшим особам, титулами своими превосходнейшим, в российском стихотворстве искуснейшим и в том охотно упражняющимся, моим милостивейшим господам» [Тредиаковский, 1963, с. 363]. Если читать эту адресацию как указание не на три разные группы (титулованные, искуснейшие, упражняющиеся), но на множество лиц, в котором все они пересекаются, возникает вопрос, стоит ли, подсчитывая их число, использовать больше одного пальца. В «Письме Харитона Макентина» Кантемир не без иронии отозвался о мере скромности Тредиаковского в его обращении: «Наипаче же хвален, что с необыкновенною стихотворцам умеренностию представляет опыт свой к испытанию и исправлению тех, кои из нас имеют какое-либо искусство в стихотворстве» [Кантемир, 1956, с. 406].

авторства в России в начале XVIII в. Вполне сложившиеся к концу XVII в. представления о поле поэзии как пространстве соревнования во многом определялись неизменно присутствующей в нем фигурой зоила [Николаев, 1996, с. 83–93] — бездарного враждебного автора (агента с равным сочинителю статусом — не критика), которая влекла за собой различные тактики защиты, такие как объявление своей стихотворной речи недостойной («буде не годится, не понравится, то плюньте» [Там же, с. 105]), монологичной (обращенной с себе или Богу) или чужой¹²; характеристика возможного оппонента через принадлежность к текстуальным сообществам, маркируемым как маргинальные; или использование в качестве оправдания инстанций, внеположных литературному полю — от помещения стихотворного высказывания под защиту покровителя (Мецената) до объявления своего труда в той или иной степени общественно полезным сочинением [Панченко, 1974; Степанов, 1983; Николаев, 1996, с. 79–112; Живов, 1997].

Следует сделать несколько оговорок. Первое. Речь в данном случае идет о поле поэзии как дискурсивной реальности — создающейся в речи агентов поля и обеспечивающей его стабильность, а не о реальности их многообразных социальных взаимодействий. Говорящий о невысоком качестве своего сочинения может быть готов вести отчаянную полемику с тем, кто осмелится сказать, что оно написано плохо, а заявляющий о пользе выполненного труда не всегда может с уверенностью сказать, в чем заключена эта польза. Домашняя библиотека автора, который обвиняет своего оппонента в ориентации на якобы маргинальные сочинения, может быть забита полным набором их любовно прочитанных изданий. Второе. Реконструируется поле культурного производства, оказавшееся видимым благодаря позднейшей (но происходившей не без его влияния) институционализации литературы в России, а также современным ему и позднейшим (и также находившимся отчасти в зависимости от него) механизмам культурной памяти. Мы плохо представляем, как дискурсивно конструировали свое поле производства «Спасского моста стихотворцы» (пренебрежительно поминаемые Третьяковым в

¹² Как прямо чужой («не от себе, но что инде читах» [Николаев, 1996, с. 96]), так и отталкивающейся от чужой, прибавляющей свое к чужой («наш автор много имитовал, хотя большую часть от себя прибавил» [Там же, с. 101]).

предисловии к «Езде в остров любви») или авторы любовных кантов первых десятилетий XVIII в.

Известное нам поле поэзии в России начала XVIII в. отстраивается через чрезвычайную (бурдьянскую) автономию. Петровское «огосударствление» литературы не означало ее гомологичность полю государственного администрирования. «Светская» печатная (как церковного, так и гражданского шрифта) литература 1700–1720-х годов создается преимущественно духовными лицами, позиции которых в церковной иерархии во многом зависели от их позиции в структуре образовательных учреждений, администрировавших церковь. Для светских лиц, входивших в литературу в 1720-х — начале 1730-х годов, цензом вхождения оказывалось не столько социальное положение (лишенный наследства сын правителя провинции, умершего в изгнании; путешествующий в Европе сын провинциального священника; сын мелкого новгородского помещика, служащего в армейской канцелярии, и проч.), сколько формальное образование. Когда в 1735 г. немаркированный этим качеством С.С. Волчков будет претендовать на место в штате Академии наук, притом что сама возможность подобного шага определялась придворной службой его отца и полученным благодаря ей же опытом дипломатической службы [Кошелева, 2016, с. 194], ключевой окажется экспертиза Феофана Прокоповича как собственно внутрিলитературной «институции».

Внутри общего поля вербального производства поэзия становилась при этом предельно автономной. Общая польза, в случае с прозаическими (справочными) книгами зачастую служившая оправданием потраченного на них труда, мотивировала вместе с тем молчание стихотворцев. Парадоксальным образом утверждающий несобственность своей стихотворной речи, пишущий исходя из представления о писательском труде как душеполезной практике Иоанн Максимович становится автором сочинений в десятки тысяч стихов, напечатанных типографским способом под его именем, между тем как Феофан Прокопович, говорящий о поэзии как авторском вымысле и занятый встраиванием словесного творчества в институции государства, создает минимальный поэтический корпус, преимущественно не попадающий при его жизни в печать (и публикующийся анонимно).

Писать русские стихи в 1720-х — начале 1730-х годов значило вступать в состязание с высокой конкурентностью, высокой ценой

выхода, высокими рисками, нечеткими критериями оценки и еще менее четким призом. Удивительно не то, что в первые десятилетия XVIII в. русских стихотворцев было немного, а то, что они вообще были. Поле, ориентированное на производство вербальных текстов для их потребления агентами того же поля, было мало заинтересовано в потребителях за его пределами и выстраивало себя скорее через ограничение числа агентов, через его расширение. Так, «Езда в остров любви» (1730) Тредиаковского — сочинение, традиционно описываемое как рубежный камень новой русской литературы, — открывалась двумя обращениями автора: первым — к его покровителю — действительному камергеру и кавалеру А.Б. Куракину и вторым — «К читателю». Появление в разговоре автора о своем тексте публики, видимое здесь (наследующее, впрочем, еще древнерусской традиции), чрезвычайно важно. Между тем нельзя не отметить, что Тредиаковский отчетливо ограничивает публику: в тексте предисловия, кроме его инципита, читатель каждый (из четырех) раз назван «доброжелательным читателем». Это тот читатель, который с самого начала благосклонно относится к книге; более того, который, еще не начав читать ее, понимает, что это за книга, находится в одном текстуальном сообществе с той «девицей очюнь охотницей до книг» из Гамбурга, у которой автор сумел раздобыть французский оригинал Тальмана для перевода (и в сообществе, отличном от «незнающих» правил стихосложения «Спасского моста стихотворцев»). Читателем за пределами этого узкого круга текстуальной общности оказывается «оуждатель Зоил», к которому обращены финальные строки: «Много на многи книги вас, братец, бывало / А на эту не ужли вас таки не стало?» [Тредиаковский, 1849, с. 774]. Напомним, что Зоил мыслится в этой системе как один из авторов-соперников и по позиции в поле равен автору осуждаемого им сочинения¹³. Таким образом, обращение к читателю в «Езде...» оставляет автора в тесном кругу замкнутого текстуального сообщества и соревнующих ему иных авторов. Как и где размыкается этот круг?

¹³ Ср. в одном из предисловий И.М. Сечихина к рукописному переводу «Анфроскопии» (1732), прямо адресованном «К Зоилу» и отмеченном сильным влиянием «Езды в остров любви»: «то толко хорошо, что ты зделал, а что протчия, то все худо» [Николаев, 1996, с. 142]. Оказываясь объектом вербальной агрессии, фигура Зоила невозможна между тем для Сечихина без сохранения за ним формальных признаков творца.

Следует заметить, что «Езда...» с ее относительно замкнутым, но все же включающим доброжелательную публику кругом потребителей представляла собой текст, вводящий стихотворство в общую рамку прозаического нарратива. Как было видно на примере «Краткого и нового способа...», в случае с изданием, касающимся непосредственно поэзии, конструируемая автором аудитория предельно сужается (так, в оде 1734 г. «на здачу города Гданска» помещено лишь одно предваряющее обращение — к Бирону, между тем как следующее за текстом оды «Рассуждение о оде вообще» в качестве читателей упоминает лишь упражняющихся в стихотворстве — «охотника российского» и «искусных», которым она «отдается в рассуждение» [Тредиаковский, 1734, B2v(=D2v)]. В случае, когда Тредиаковский публиковал прозаический текст, аудитория, наоборот, максимально расширялась. Вышедшая в 1737 г. в переводе Тредиаковского «Истинная политика знатных и благородных особ» через предисловие адресуется «читателю», причем никакой речи о выделении видной автору «доброжелательной» группы не идет. Читатель называется «почтеннейшим», и учебник придворного поведения предлагается всему российскому свету: «Я не сомневаюсь, чтоб сия важная материя не угодна была толь российским читателям, как она есть приятна всем прочим эвропейцам» [Тредиаковский, 1737, с. 2].

Адресация прозаических изданий относительно широкой аудитории в целом характерна для практики петербургской Академии наук 1720–1730-х годов, насколько об этом можно судить по тем редким случаям, когда в выпущенных здесь книгах появляются обращенные к читателю предисловия или когда читатель в них упоминается [Кочеткова, 2002; Valkova, 2013; Iosad, 2017, с. 125–146, 174–189]. Так, первый номер «Краткого описания комментариев Академии наук» 1726 г. начинается с обращения «Доброхотному российскому читателю радоваться». Академический «Календарь и месяцеслов», начиная с выпуска на 1728 г. (вышел в 1727-м), обращался к «читателю» (в том числе «благосклонному»), отмечая среди прочего, что некоторые его материалы (астрологические), которые следовало бы исключить, по мнению редакторов, из-за их ненаучности, все же помещаются «ради некоторых читателей, таковая любящих» [Календарь, 1727 [с. 61]]. Первый выпуск «Исторических, генеалогических и географических примечаниев в ведомостях» 1729 г. открывается обращенным к «бла-

госклонному читателю» рассказом об истории повременных изданий. «Sammlung der Russischen Geschichte» Г.Ф. Миллера в первом выпуске 1732 г. характеризует себя адресованным «любящему историю свету» [Müller, 1732, S. 1] (причем предлагается «тем, кто имеет на руках что-нибудь полезное для наших намерений и хотели бы — раскрыв или скрыв свое имя, как им заблагорассудится — поделиться этим с миром»¹⁴, отправлять такие материалы в академическую канцелярию). Самое, наверное, удивительное из академических предисловий с точки зрения конструирования аудитории находится в переводе «Жития и дел Марка Аврелия Антонина» С.С. Волчкова (1740), где «благосклонному читателю» предлагается вообразить себя введенным «в превеликую, множеством портретов и статуй убранный палату» [Волчков, 1740, с. 6], после чего он вовлекается в диалог, подводящий его к необходимости прочитать книгу.

Ничего подобного мы не найдем в стихотворных изданиях 1730-х — начала 1740-х годов. Вряд ли здесь можно найти пример более показательный, чем книга, стандартно описываемая как маркер вовлеченности русской публики первой половины XVIII в. в стихотворческую полемику (ср., например: [Гуковский, 2001, с. 253–255; Шишкин, 1983; Николаев, 2010, с. 260–261]). «Три оды парафрастические» — сборник 1744 г., в котором три поэта (Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков) переложили (каждый по-своему) 143-й псалом, споря о семантике стихотворного метра и относительной ценности хореев и ямба, — предваряются эпиграфом и написанным Тредиаковским предисловием с заголовком «Для известия». Эпиграф сообщает словами Горация (А. Р. 400–401): «Сим образом искусные стихотворцы и их стихи честь и славу себе получают». Предисловие рассказывает о том, как три поэта вступили в чрезвычайно утонченный специальный спор («...как восхождение, или вознесение, в иамбе не непрерывное, но токмо вскок смешенный с скоком, так в хорее нисхождение, или ниспадение, не всё продолжающееся, но также скок смешенный с вскоком...»), констатируя в итоге, что из-за этого спора «[три оды] ныне свету предаются» [Тредиаковский, 1963, с. 422]. Мы имеем здесь дело именно с

¹⁴ «Diejenigen inmittelst, welche etwas zu diesem Endzwecke dienliches zur Hand haben, und solches entweder mit Beysetzung oder Verschweigung ihres Namens, so wie es ihnen selbst gefällig, der Welt mit zu theilen willens sind» [Müller, 1732, S. 2].

констатацией, а не с сообщением читателю: описываемый «в известие» спор не нуждается в читателе, но только в воздвижении памятного знака. Авторы (пишущий за троих Трелиаковский) замечают:

Однако подаются [три оды] свету не в таком намерении, чтоб рассмотреть и определить, который из них лучше и великолепно вознесся. Сие предпочтение могло бы им быть всем троим обидно: ибо праведно есть, что все трое не подлым искусством сочинили свои стихи и что трудный и прерывный разум псалма совершенно они изобразили [Трелиаковский, 1963, с. 423].

Соприкосновение читателя с миром стихотворческого спора не просто не предполагается — оно объявляется нежелательным и вредным¹⁵. Гармония трех подлинных сочинителей утверждает их незыблемую славу и если и предполагает ее взаимодействие с иными агентами, то лишь с «многими дряхлыми, на Парнас ползущими» стихотворцами, которые буквально не допускаются в центр поля, оставаясь разбросанными на его периферии, — предисловие использует именно эту образность:

все [три представленные в этой книге] добрые стихотворцы <...> в один пункт сходятся и чрез то от должного себе центра не относятся <...> [Между тем как] которые и свои мысли неясно иногда словами изображают, и стихом весьма не гладким и не правильным и в одной материи разны, и в разности больше надлежащего друг от друга да-

¹⁵ Можно даже добавить — опасным. Так, за несколько месяцев до того, как Трелиаковский будет составлять предисловие к «Трем одам парафрастическим», Кантемир в Лондоне написал предисловие к своим сатирам — в форме посвящения своему единственному адресату-покровителю-собеседнику-единомышленнику, завершив постскриптумом об аудитории авторских примечаний, сопровождавших почти каждый стих сатир: «Приложенные под всяким стихом примечания нужны для тех, кои в стихотворстве никакого знания не имеют и, кроме того, к совершенному понятию моего намерения служат» [Кантемир, 1956, с. 433]. При всей привлекательности увидеть здесь заботу о просвещении и конструировании относительно широкой публики и при несомненной важности того, что читатель за пределами закрытого круга поэтического производства включается здесь в аудиторию [Serman, 1988], представляется все же важным учитывать, что неквалифицированный читатель рассматривается Кантемиром в связи с подверженной опасности славой автора — славе этой угрожает читатель-не-знакомый-с-поэзией [Левитт, 2017], и единственный способ спастись от него — отнять у него голос и дать автору самому говорить о себе.

леки, <...> не знают, где их пункт неподвижный и цель, в которую бы метить [Там же, с. 423].

Между тем, рассказывая историю создания той же книжицы семь лет спустя, Тредиаковский заметно изменил ее социальную конструкцию. Споря с Сумароковым, в образе Тресотиниуса, заглавного героя своей комедии, представившим ряд неприглядных черт бывшего союзника, Тредиаковский среди прочего вспомнил и о их давнем стихотворном споре: «Сочинители уговорились поставить судьями искусства своего все читающих общество и для того просили, чтоб им позволено было их напечатать» [Тредиаковский, 1865, с. 443]. Разница между «светом», которому отказывается в возможности «рассмотреть и определить, который из [стихотворцев] лучше и великолепнее вознестя» и «всем читающих обществом», которое «поставляется судьями искусства», настолько разительна, что не представляется возможным, как кажется, списать эту формулу на тривиальную парафразу. Еще двумя годами позже, в «Сочинениях и переводах», публикуя свое переложение 143-го псалма в числе других «Од божественных», Тредиаковский предпошлет ему отредактированное предисловие к сборнику 1744 г. Самым обширным из изменений окажется исключение финального раздела текста, начинающегося ровно со слов «ныне свету предаются»¹⁶. Поэтическому по преимуществу корпусу «Сочинений и переводов» будет предпослано предисловие «К читателю», где он неоднократно будет именоваться «благодарным читателем», а в завершающем абзаце ему будет предложено словами Роллена стать одним из тех «охотников», которые получают «знатную пользу» от исправления в книгах¹⁷. В «Древней истории» Роллена, которую Тредиаковский цитирует здесь по собственному печатному переводу, на месте наделяемых субъектностью «охотни-

¹⁶ В издании 1744 г.: «Сей есть случай и причина сих трех од, двух иамбических, а одной хореической, которые ныне свету подаются». В издании 1752(=1753) г.: «Сей есть случай и причина оных двух од ямбических, названных парафрастическими, а третиея, лежащая там в самой середине, хореическая, которая следует». Ср.: [Тредиаковский, 2009, с. 399].

¹⁷ «Окончивая с вами, благодарный читатель, говоря Ролленовыми словами, что исправление такое первым погрешностям хотя не весьма есть приятно самолюбию, но может учинить знатную пользу охотникам, делая сочинения не толь недостаточны» [Там же, с. 17].

ков» значился предстоящий лишь объектом просвещения «народ» [Алексеева, 2009а, с. 513]. Чтение поэтической книги превращалось в инклюзивную практику, делавшую читателя полноценным агентом до того открытого лишь для творцов поля поэзии.

Не столь наглядно, но тот же феномен включения исключенного вначале читателя в поле вербального производства можно увидеть и в истории текста ломоносовской риторики. Обе ее редакции — рукописная 1743/1744 г. и печатная 1747/1748 г. — открываются посвящением наследнику престола и не содержат обращения к читателю. Вместе с тем в начальной редакции лица, находящиеся за границами коммуникативной рамки адресата и автора и предполагаемые новым риторическим сочинением — подданные его императорского высочества, — предстают лишь объектами образовательных усилий государства: «Благополучны в научении положенные труды сынов российских, которых щедрая ВАШЕГО ВЫСОЧЕСТВА рука ободряет к вящему приращению наук в наследной вашей империи» [Ломоносов, 1952, с. 21]. В печатной редакции, строящейся вокруг стержня не монарших добродетелей, как это было раньше, но данной человеку Богом силы слова, подданные получают возможность обрести образованный искусством и наукой язык: «предприял я сочинение сего руководства <...> в таком намерении, чтобы другие, увидев возможность, по сей малой стезе в украшении российского слова дерзновенно простирались» [Там же, с. 91]. За счет снижения стилистического регистра более инклюзивной оказалась и прямая адресация труда, вынесенная на его титульный лист: «любители сладкоречия» сменились «любящими словесные науки». В тексте «Риторики» 1747/1748 г. появились неоднократные указания на «всякого», который будет способен достичь высот словесного искусства, если станет следовать правилам, изложенным в книге¹⁸,

¹⁸ «Всяк, кто слухом выговор разбирать умеет, может их употреблять по своему рассуждению, а особливо что сих правил строго держаться не должно, но лучше последовать самим идеям и стараться оные изображать ясно»; «Сии правила о украшении описаний и повествований предложены больше для того, чтобы всяк, читая исторические и другие описаниями и повествованиями богатые книги, примечал в них то, что их особливо украшает. Кто сие наблюдать будет, тот много найдет, чего ни в каких риторических правилах нет, и для того правила для себя по найденным примерам составить или одне примеры в свою пользу употреблять может» [Ломоносов, 1952, с. 242, 370].

между тем как текст начальной редакции подобного читателя не пред- полагает¹⁹.

Заметим наконец, что опубликованные в 1748 г. «Две эписто- лы» А.П. Сумарокова («в первой предлагается о русском языке, а во второй о стихотворстве») строятся на обращении во втором лице к читателю, принимающему наставления, притом что автор не накладывает на него никакого ценза предварительного знания (требуется лишь наличие «ума»), — разительное отличие от включенной Тре- диаковским в 1735 г. в «Новый и краткий способ...» «Эпистолы от российския поэзии к Аполлину». Вторая сумароковская эпистола (и книжка в целом) заканчивается таким обращением к вступающе- му в поэзию читателю:

Всё хвально: драма ли, эклога или ода —
Слагай, к чему тебя влечет твоя природа;
Лишь просвещение, писатель, дай уму:
Прекрасный наш язык способен ко всему [Сумароков, 1957, с. 124].

Поэзия становилась полем, открытым для всякого, наделенного «умом» и решившего «просветить» его. Фигура читателя из-за гра- ниц закрытого поля стихотворного производства (явленная в фор-

¹⁹ Заметим, впрочем, что круг лиц, попадающих в адресацию на титульном листе, в обеих редакциях «Риторике» ограничивается уже получившими до- ступ в поле вербального производства. Впоследствии Ломоносов не перейдет в конструировании читателей своих поэтических (филологических) сочинений границ неопределенного круга «любящих словесные науки». Собрание его сочи- нений 1751 г. выйдет без предваряющих предисловий. «Российская грамматика» 1755 г. вновь будет предварена лишь посвящением наследнику престола; упо- минаемые здесь читатели будут ограничены теми, кто «прострет в него [русский язык] разум и с прилежанием вникнет» [Там же, с. 91]. Открывающее изданное Московским университетом собрание сочинений 1757–1765 гг. «Предисловие о пользе книг церковных» (отметим объективный, исключаящий читателя харак- тер заголовка) упомянет о «всяком», который из опыта церковного чтения смо- жет «уметь разбирать высокие слова от подлых и употреблять их в приличных местах по достоинству предлагаемой материи, наблюдая равность слога», однако этот «всякий» эксплицитно включен Ломоносовым в сообщество «любителей отечественного слова» и, по-видимому, равен другому «всякому» — чувствующе- му, «сколько в высокой поэзии служат одним речением славенским сокращен- ные мысли, как причастиями и деепричастиями, в обыкновенном российском языке неупотребительными», поскольку он «в сочинении стихов испытал свои силы» [Там же, с. 590, 591].

ме ничем не ограниченного «всякого») появляется в сумароковской первой эпистоле после полемичного обращения к собрату по перу, за которым легко читается Тредиаковский:

Зело, зело, зело, дружок мой, ты искусен,
Я спорить не хочу, да только склад твой гнусен.
Когда не веришь мне, спроси хотя у всех:
Всяк скажет, что тебе пером владети грех [Сумароков, 1957, с. 112].

Только вслед за этим вербальным переворотом поля поэзии — передачей прав поэта публике — Сумароков начинает обучение неопита, ведя его от правил перевода (здесь впервые появляется обращение во втором лице, адресованное «открытому» читателю) до полной свободы творить в любом жанре. Закрытое святилище стихотворства оборачивалось целым миром поэзии; эта предельно формализованная и неестественная манера складывать слова становилась *общим делом* («для общих благ...» — этими двумя стопами открывалась книга). По меньшей мере, на словах²⁰.

Печатные стихи в России середины XVIII в. как товар: предварительные замечания

Дискурсивные конструкции поля поэзии в России 1730–1740-х годов и положение в них читателя намечены здесь лишь первым предварительным наброском. Можно было бы обратить внимание, например, на отмеченное Ю.Н. Тыняновым изменение «установки» ломоносовской риторики между двумя ее редакциями от мнимо объективного «удостоверения» слушателя/читателя в истинности оратора к требующему эмоциональной вовлеченности «преклонению» (причем обе

²⁰ Стихотворство — институциональные структуры, встающие за его медийностью, — оказывается таким образом разновидностью хабермасовской *Öffentlichkeit* (публичной сферы), одновременно «несовершенной» (как любая публичная сфера) и действенной. Чрезвычайно продуктивный опыт взгляда на историю русской словесности XVIII в. через призму *Öffentlichkeit* предложен в магистерской диссертации Олега Ларионова (НИУ ВШЭ, 2022), результаты и разработки которой, надеюсь, в ближайшем будущем будут опубликованы. О литературе и поэзии эпохи долгого «Просвещения» как механизме публичной сферы см.: [Martus, 2015]; о вариативности публичной сферы в русском контексте — [Несовершенная публичная сфера..., 2021].

установки отличаются от задачи приводить слова в соответствие с «премудростью» естественно неподвижных «вещей», которую ставил в 1745 г. перед красноречием Тредиаковский [Тынянов, 1977, с. 229]. Или попытаться реконструировать имплицитного читателя через непосредственное чтение русских стихотворных сочинений этого времени [Блок и др., 1959; Лотман, 1985; Левитт, 2017].

Представляется вместе с тем важным показать, что закрытость поля поэзии 1730–1740-х годов и отделенность его от читателя, а также размывание его границ с конца 1740-х годов, могут быть увидены через другие позиции поля интеллектуального производства/потребления — с позиций читателя как экономического агента, приведенного к квантифицируемым данным статистики.

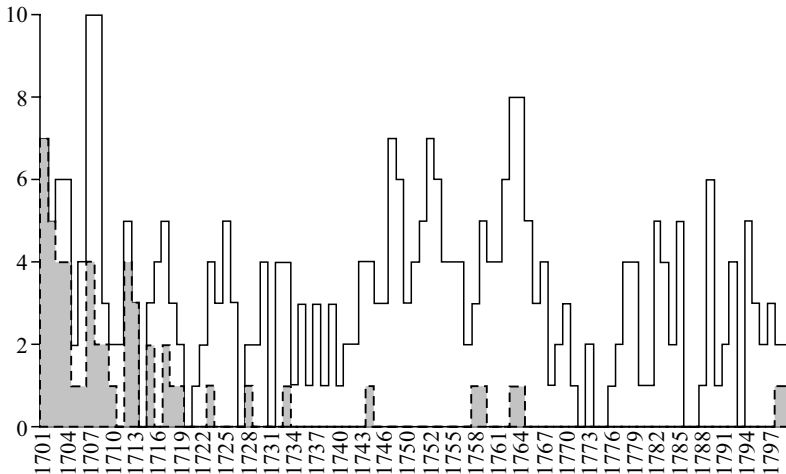
Следует опять же сделать несколько важных оговорок. Прежде всего мы будем здесь говорить о поэзии, нормативным для которой оказывается бытование стихотворного текста в форме печатного издания русского гражданского шрифта. Значимость этой медиальной составляющей в занимающем нас объекте не вполне очевидна, и поэтому следует сказать о ней несколько слов. Известный указ 4 октября 1727 г. о закрытии подчиненных Синоду петербургских типографий (в соответствии с которым два стана, весь набор гражданского русского, а также немецкого и латинского шрифтов и другие материалы были переданы в Академию наук), содержательно разграничивший сферу церковной и гражданской печати²¹, в значительно большей мере маркировал появление в России новой вербальной культуры, чем сам факт введения в 1708 г. гражданского шрифта. Место стихотворного текста в печатном издании оказывалось неявным, но важным показателем этого различия. Как показывают материалы А.А. Гусевой, постаравшейся при описании изданий кирилловской печати Москвы и Петербурга XVIII в. указать все стихотворные тексты, встретившиеся в учтенных ею книгах [Гусева, 2010], на 1720-е годы приходится радикальный перелом в возможности для книги церковного шрифта

²¹ «...друкарням в Санкт-Петербурге быть в двух местах, а именно: для печатания указов в Сенате, для печатания же исторических книг, которые на российский язык переведены и в Синоде апробованы будут, при Академии, а прочим, которые здесь были в Синоде и в Александрове монастыре Невском, те перевести в Москву со всеми инструментами и печатать только одне церковные книги, как издревле бывало» [Полное собрание законов..., № 5175].

выступать медиа, включающим публикацию стихотворного текста²². Если издательская практика первых лет XVIII в. наследовала (в том числе текстуально) практике московских типографий конца XVII в., для которых стихотворное оформление книги (как богослужебной, так и учебной) было нормативным, то к середине 1710-х годов это представление размывается (см. рис. 1.2). После 1719 г. известны три случая появления новых стихотворных текстов в церковных книгах: подпись под портретом Стефана Яворского в посмертном издании «Камня веры» 1728 г. (и его переизданиях); восьмистишие в финале посвящения «Доброхотному читателю» переводчика Академии наук (и секретаря Д.К. Кантемира) И.И. Ильинского в его «Симфонии» (1733); и наконец, стихотворное описание иллюминации в Троице-Сергиевой лавре 1744 г., дублировавшее соответствующее издание гражданского шрифта, изданное типографией Академии наук. Все новые стихотворные тексты (три), публиковавшиеся в книгах церковного шрифта после 1744 г.²³, уже были написаны пришедшей из гражданской печати силлабо-тоникой.

²² Неявным образом метод описания, разработанный А.А. Гусевой, предполагает упоминание в каталоге лишь стихотворных текстов, выделенных в издании как самостоятельный авторский элемент (в том числе подписи к иллюстрациям); фрагментарные иллюстративные стихи (например, в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого или в переведенном Гавриилом Бужинским «Феатроне») не учитываются. Отдельные описания каталога непоследовательны также в указании наличия в нем стихотворного текста. Сверка для отдельных изданий показала, что сведения о наличии в издании стихотворного текста можно экстраполировать на более ранние или более поздние однотипные издания, если этому не противоречит явно предложенное А.А. Гусевой описание состава книги (отсутствие в издании иллюстраций со стихотворной подписью, изменение последовательности текстов и проч.). Подсчеты выполнены с учетом этого допущения без сквозной сверки изданий de visu. Учтены однотипные издания, представленные описаниями по каталогу № 38, 49, 51, 98, 101, 147, 151, 160, 215, 244, 259, 306, 352, 363, 372, 396, 402, 416, 426, 429, 474, 502, 529, 535, 537, 616, 627, 638, 655, 657, 911, 939, 965, 1083, 1084, 1088, 1115, 1150, 1276, 1468, 1499, 1508, 1519, 1541, 1550, 1567, 1569, 1622, 1626, 1644, 1647, 1679, 1768, 1920 (указываются описания наиболее ранних изданий).

²³ Стихи Ломоносова на открытие Воспитательного дома 1764 г.; стихотворное изложение чудес епископа Арсения Тверского, приложенное к его житию, составленному Макарием (Петровичем), в издании 1798 г.; подпись Г.Н. Соколова к портрету Стефана Пермского 1799 г. В число новых не входят стихотворные тексты, воспроизводящие текст по рукописи, московским изданиям XVII в. или украинским изданиям.



Примечание. Область, обведенная сплошной чертой, отражает все издания, включавшие стихотворные тексты; область, обведенная пунктирной чертой, — только те, где (для соответствующего однотипного издания) стихотворные тексты публикуются впервые.

Рис. 1.2. Число московских и петербургских изданий книг церковной печати XVIII в., включающих стихотворные тексты (по данным каталога [Гусева, 2010])

С 1720-х годов петербургская и московская церковная печать перестает, таким образом, быть медиа, определяющим трансляцию актуальной стихотворной культуры; эта функция остается лишь за изданиями гражданского шрифта. Вместе с тем важно понимать, что, несмотря на утраченное значение медиа, предлагающего читателю новые стихотворные тексты, церковная печать продолжает (в том числе в выходящих совокупными тиражами в десятки и сотни тысяч экземпляров учебных книгах) фиксацию как нормативных, классических и канонических стихотворных текстов, созданных до 1710-х годов. «Новое» стихотворство гражданского шрифта (со временем вырабатывающее отличную от церковного стандарта стихотворную форму) развивается на фоне этой церковной традиции.

Печатная форма бытования стихотворных текстов была противопоставлена двум другим, в равной степени важным как референт, с

которым соотносили свою работу агенты, конструировавшие в 1730–1740-х годах русскую стихотворную культуру. Одной из этих форм было, конечно, рукописное бытие текста. Внимание к качественным изменениям текста при переходе от совокупности уникальных списков к унифицированному печатному оттиску отличает в целом авторов 1710–1750-х годов: от Иоанна (Максимовича), лишенного на тобольской кафедре прежних издательских возможностей Чернигова и переживавшего в 1710-х невозможность «в тип дати» [Николаев, 1993, с. 229] свои новые сочинения; от его противников Феофана Прокоповича и Димитрия Ростовского, прямо увязывавших поэтическую одержимость черниговского архиепископа с его ненормальным отношением к издательской практике²⁴; от Антиоха Кантемира с его знаменитой рефлексией над «скукой» своих стихов в ящике и переживаниями о их незавидной будущей печатной судьбе — до участников стихотворной полемики начала 1750-х годов вокруг «Сатиры на петиметра» И.П. Елагина, один из первых критиков которого строил свои обвинения вокруг важнейшего тезиса — несогласия с тем, что оппонент «издатель быть хочет» [Поэты..., 1972, с. 380]. «Новый и краткий способ...» Тредиаковского 1735 г. был не столько трактатом об абстрактных путях русского стиха, сколько явным предписанием, как «стихи наши <...> от часу в большем совершенстве в российский свет издавать» [Тредиаковский, 1963, с. 363]. Неявным, но чрезвычайно важным, как представляется, следствием восприятия своего труда как труда с печатным словом оказывалось то место, которое было отведено вопросам (печатной) орфографии в поэтических спорах 1740–1760-х годов и, в частности, то внимание, которое уделял Тредиаковский истории русского гражданского шрифта (последовательно подчеркивая его превосходство над церковным) [Чугунова, 2004].

Вместе с тем не менее важным оказывалось и взаимодействие печатной поэзии с другой формой бытования стихотворного текста — песней. Традиция поющих стихов была чрезвычайно важна для

²⁴ Ср. слова Феофана: «Все начали стихотворствовать до тошноты, чем в особенности страдала новая академия [т.е. Черниковский коллегийум]», Димитрия Ростовского: «Бог дал тем вершописцом друкарню, и охоту, и деньги, и свободное житье: мало кому потребные вещи на свет происходят» и др. Цит. по: [Николаев, 1996, с. 79–112].

развития русской поэзии первой половины XVIII в. — не вдаваясь в специальное рассмотрение, напомним, что первые опыты создания русской силлабо-тоники появляются в переводах церковных гимнов Э. Глюка и И.В. Пауса, что история короткого одического стиха связана с коротким песенным панегирическим стихом петровского времени [Алексеева, 2005, с. 52–70], что на песенном репертуаре основывается авторский статус Тредиаковского и Сумарокова в начале их карьеры (и что с этим же медиа связаны ранние опыты Ломоносова). Другой оппонент Елагина в полемике 1753 г. будет обвинять автора «Сатиры на петиметра» в том, что тот принял за неподходящий ему сатирический жанр, между тем как ему было бы вполне достаточно песни, в которой он (не напечатав ни одного текста) успел сделать себе имя: «Хоть песнями поныне еще ты процветал, / Но и в них ты свой ум довольно показал» [Поэты..., 1972, с. 377]. Аргумент о песенности оказывается ключевым для Тредиаковского, когда он в «Кратком и новом способе...» конструирует новый русский стих. Песня появляется и там, где он декларативно разрывает связи со старой традицией («[силлабические] стихи толь недостаточны быть видятся, что приличнее их называть прозою, определенным числом идущею, а меры и падения, чем стих поется и разнится от прозы <...> весьма не имеюще» [Тредиаковский, 1963, с. 365]), и там, где столь же декларативно сообщает о сути своего «нового способа». Напомним, что суть его состояла в том, чтобы, сохранив силлабическую меру за короткими (до девяти слогов) стихами, ввести новую («тоническую») меру стоп (силлабо-тонику) в длинный стих. Сжатое изложение этого принципа целиком строится на оценке стиха с точки зрения его напевности:

<...> стопы внесены в эксаметр да только в пентаметр и для того еще, чтоб сии наидолжайшие наши стихи от прозаичности избавить: ибо чрез стопы стих поется, что всяк читающий и не хотя признает. А ежели б в сих долгих стихах не было тонических стоп, как оных нет в старых наших, то оные бы совсем походили больше на прозу, определенным числом идущую, нежели на поющийся стих. Но выше упомянутые наши стихи, о которых доказательное слово, и без стоп, для краткости своей, падают по-стиховному и довольно гладко и сладко поются: о сем всяк собственным своим искусством, ежели правильно сии стихи будет читать, уверен быть может [Там же, с. 407].

Эта песенная победа нового стиха над старым позволяет, как кажется, увидеть дополнительный смысл в памятной заставке с Аполлоном и Марсием к речи Тредиаковского к Российскому собранию того же 1735 г. Из всех версий мифа о состязании сатира-флейтиста и играющего на кифаре бога для Тредиаковского наиболее актуальной могла быть та, в которой победа достигалась возможностью присоединить к игре на лире голос. Так ее излагает в своей «Древней истории» Ш. Роллен (соответствующая книга не была, впрочем, переведена Тредиаковским): «Марсий <...> осмелился вызвать на спор Аполлона, который смог победить в сражении, лишь присоединив к лире голос» [Rollin, 1740, p. 676] (перевод мой. — А. К.). Новая печатная поэзия сообщала о своем превосходстве, присваивая себе положительное «естественное» качество конкурирующего медиа, вместе с тем объявляя о своем превосходстве над ним.

Особая медиальность как один из конституирующих принципов русской поэзии 1730–1740-х годов закономерно ставит вопрос о том, как работало это медиа, — об аудитории и о ее взаимодействии с передающимися медиа текстами. Однако, прежде чем перейти непосредственно к аудитории, необходимо сделать последнее уточнение, позволяющее вести разговор об авторских стихотворных текстах как о продукте, вступающем с публикой не только в социальные, но и в экономические отношения. Взглянуть на печатную книгу как на товар.

Несмотря на то что большее распространение бумаги и технология печатного оттиска существенно удешевляли книгу, в раннее новое время она оставалась товаром, далеко выходящим за рамки повседневного потребления. За время, о котором мы говорим в этой статье, стоимость книг, выпущенных Академией наук, возрастала (за счет увеличения доли объемных изданий — цена книги определялась прежде всего стоимостью затраченной на ее производство бумаги). Медианная цена товарной позиции в каталоге академических изданий 1739 г. составляла 30 коп., в 1753 г. — 40 коп. [Verzeichniss..., 1739]²⁵. Чтобы составить верное представление об этой цене, следует учитывать, что медианный показатель штатного годовичного жалования сотрудников Академии наук в 1750 г. составлял 48 руб., т.е. 4 руб. в месяц (при среднем показателе 137,61 руб. — распределение

²⁵ СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 6. № 23. Л. 1–15, 84–91, 101–103, 30–35.

доходов в этом учреждении отражало очень высокое имущественное расслоение, свойственное России в целом), см.: [Материалы..., 1900, с. 276–294]. Новый регламент и штат, полученный Академией в 1747 г., несущественно улучшил этот показатель: в 1742 г., когда жалованье академических сотрудников сохранялось на уровне 1730-х, медианное годовое жалованье по штату составляло 40 руб. 55 коп. (3,38 руб. в месяц) при среднем в 130 руб. 30 коп. [Там же, с. 4–15]. Не вызывает сомнений, что реальные доходы сотрудников Академии наук были выше — структура доходов могла включать и премии, и плату за труд вне Академии (статус академического служителя мог являться существенным бонусом на рынке труда и частного учителя, и переплетчика, и рисовальщика, и проч.), и доходы от семьи или имений и др. И все же соотношение цены интересующего нас товара с регулярным и официально закрепленным доходом представляется показательным для оценки его места в структуре расходов. Сотрудники Академии наук кажутся здесь репрезентативной социальной группой. Это учреждение устанавливало достаточно высокий образовательный ценз (в том числе на уровне социальных сетей для младших служителей²⁶) для своих сотрудников, так или иначе по большей части занятых в сохранении, производстве или трансляции знания или, по меньшей мере, текстов (будь то ученики гимназии, подмастерья инструментальной палаты, типографские ученики или писчики). Уровень доходов этой социальной группы, несмотря на высокий интеллектуальный ценз, не позволял на медианном уровне рассматривать книгу как рядовой товар в структуре расходов. При всей сомнительности аналогии как исторического инструмента читающая(ий) эту статью сотрудница(ик) российского академического института или университета может провести мысленный эксперимент, предположив, что на покупку каждой книги он(а) должна(ен) тратить сумму, примерно соответствующую десятой части месячной заработной

²⁶ Представляется перспективным анализ патрон-клиентских отношений в принятии служащих на младшие должности в Академии наук; судя по ряду известных мне случаев, предполагаю, что эта практика во многом может быть соотнесена с теми механизмами назначения пособий в Странноприимном доме Н.П. Шереметева, которые в конце XVIII — начале XIX в. сделали это учреждение доступным только для нуждающихся, имевших возможность получить рекомендации от людей, хорошо знакомых его администрации [Лавринович, 2019].

платы, оговоренной в ее(его) контракте. Для большинства русской потенциальной читающей публики (по самым скромным оценкам, составлявшей несколько десятков тысяч человек) в середине XVIII в. книга оставалась доступным, но все же предметом роскоши. Покупки книг не могли быть (в медианном случае) частыми; средняя библиотека образованного и считающего себя читающим человека насчитывала не более нескольких десятков изданий, и отбор книг не мог не быть относительно тщательным и мотивированным.

Что в этой ситуации могло мотивировать читающего человека стать покупателем печатного поэтического издания? Напомню, что речь идет об информационном продукте, медиальная природа которого конструируется соответствующим полем как неотчуждаемая. Прослушивание аудиозаписи на домашней магнитоле не заменяет впечатлений живого концерта; просмотр фильма с экрана планшета — лишь отголосок посещения 3D-сеанса в широкоэкранный мультиплекс. Стихотворные издания — предлагающие тексты, очень незначительные по объему для культуры, привыкшей к переписыванию от руки многостраничных книг, — могли, конечно, копироваться от руки. И копировались. Однако списков с изданий 1730–1740-х годов до нас дошло очень мало²⁷, поэтому мы с уверенностью можем говорить, что в эту эпоху печатная форма поэзии была стандартом не только для авторов, предпочитавших письмо в стол рукописному тиражированию [Алексеева, 2019], но и для читателей. Стать читателем стихотворного текста в этой культуре значило стать покупателем стихотворного издания. Внутри медиа, основанного на механической воспроизводимости информации, поэтическая печать становилась анклавом домеханического мира, предлагающим покупателю-читателю соприкосновение с не подлежащей копированию подлинностью произведения искусства. Был ли, однако, потре-

²⁷ Ср.: [Сперанский, 1963, с. 166–171], с указаниями на единичные и в единичных сборниках тексты Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова до 1750-х годов, в отличие от более поздних текстов, фиксирующихся несколькими сборниками. Источниками для списывания с большей вероятностью могли служить позднейшие переиздания этих од и переложений псалмов, что достаточно хорошо прослеживается по рукописной традиции ломоносовской поэзии [Кислова, 2013]; на поздний источник списка одной из од Тредиаковского в своем кратком перечне указывает и М.Н. Сперанский.

битель русского книжного рынка 1730–1740-х годов заинтересован в этом уникальном опыте?

Русские (не)покупатели стихов середины XVIII в.
(в том числе как продавцы)

Переложение 143-го псалма, выпущенное в 1744 г. Третьяковским, Сумароковым и Ломоносовым, вышло тиражом в 150 экземпляров, несмотря на то что по начальному распоряжению академической канцелярии предполагалось издание 300 экземпляров за счет авторов и 200 — для свободной продажи в академической лавке, а впоследствии Н.Ю. Трубецкой запрашивал о дополнительном издании 600 экземпляров. Издание между тем не было оплачено, и итоговый тираж был урезан [Алексеева, 2009а, с. 605]. Из этих 150 экземпляров к 1749 г. на складе академической книжной лавки оставалось 25. И это не означает, что за пять лет 125 экземпляров переложения псалма были раскуплены. Практика академического книгоиздания в 1740-х годах предполагала, что автор (переводчик), даже если (и особенно если) книга выпускалась Академией за свой счет с целью продажи, мог рассчитывать на безвозмездное получение части тиража в возмещение трудов в «праздные» часы и в награду за предполагавшийся продажей оставшегося тиража академический прибыль. Если предположить, что авторам было выдано минимально известное по другим случаям число экземпляров (25), мы должны заключить, что в свободной продаже с 1744 по 1749 г. разошлось не более 100 экземпляров важнейшего стихотворного издания 1740-х годов. Еще более впечатляет ничтожное внимание публики к переводам Горация, выполненным Кантемиром: из 200 экземпляров, изданных в 1744 г., к 1749 г. на складе книжной лавки оставалось 175²⁸. У русской поэзии первых лет правления Елизаветы Петровны была своя аудитория. Но эта аудитория была исключительно исчезающе малой. Чтобы понять — насколько, стоит посмотреть, какое место занимали русские стихотворные издания Академии наук в общей структуре ее (русскоязычной) книжной торговли.

²⁸ СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 6. № 23. Л. 1–15.

Чрезвычайно показателен здесь хорошо задокументированный²⁹ случай, когда на сравнительно коротком временном отрезке значительное число лиц, обращавшихся в книжную лавку, были вынуждены воспринимать книгу не столько как конечный продукт потребления, сколько как монетизируемый товар. В 1743 г. из-за начавшегося следствия над И.Д. Шумахером казна Академии наук почти опустела. Большинству сотрудников не выплачивалось жалованье, и главным средством решения этой проблемы стала возможность выдавать книги со склада книжной лавки в зачет жалованья. Несмотря на вынужденность и невыгодность этой меры³⁰, ею воспользовалось не менее трети сотрудников Академии. Притом что в штате состояло около 330 человек, за выплатой книгами обратились по меньшей мере 116: их имена известны персонально; помимо этого, сохранилось несколько групповых (от 6 до 50 человек) прошений от сотрудников отдельных ведомств, в которых имена не раскрываются. Поскольку книга в этой ситуации оказалась монетизируемым товаром, решение о приобретении которого определялось во многом представлениями о его ликвидности, данные о распределении отдельных изданий в общей структуре заказов, сделанных академическими сотрудниками, репрезентативны для оценки места текстов различного типа в общем поле.

В целом поле для выбора книг было достаточно обширным (отдельные прошения показывают, что сотрудники могли заказывать не

²⁹ См.: [Материалы..., 1889]; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 73–83; Оп. 6. № 10. Предварительный анализ этого материала представлен в статье: [Костин, Костина, 2019, с. 120–122]. Ср. также: [Луппов, 1976, с. 133].

³⁰ Книги продавались, по-видимому, прежде всего сторонним торговцам, использовавшим возможность покупать по цене ниже той, что предлагалась книжной лавкой. Коллективное прошение сотрудников немецкой типографии от октября 1743 г. о выдаче им экземпляров только что напечатанной «Указной книги» сообщало об уценке ранее взятых давно выпущенных книг до 20–30%: «Хотя между тем в зачет нашего жалованья для повсядневнаго пропитания и брали разными книгами, но <...> оных книг в народе обретается уже довольно число, чего для принуждены мы были оныя книги продавать с великим накладом, так что по дватцати и по тритцати копеек у каждого рубля уступали, отчего пришли в крайнее убожество и неоплатныя долги» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 82. Л. 125). Сложно оценить степень риторического преувеличения в этом тексте, между тем сам факт дисконта не вызывает сомнений.

только издания, выпущенные Академией наук, но и имевшиеся на складе зарубежные книги, т.е. общий репертуар товарных позиций превышал 2000 названий), однако впечатляющее общее число заказов на 1416 экземпляров оказалось распределено среди лишь 45 названий. Распределение изданий как по числу заказчиков, так и по количеству заказанных экземпляров ожидаемо демонстрирует классический график без доминирующего «длинного хвоста» [Андерсон, 2008], предполагающий выделение очень компактного ядра «хитов» и не перевешивающего его поля товарной периферии, вызывающей лишь спорадический спрос (см. рис. 1.3 и табл. 1.1).

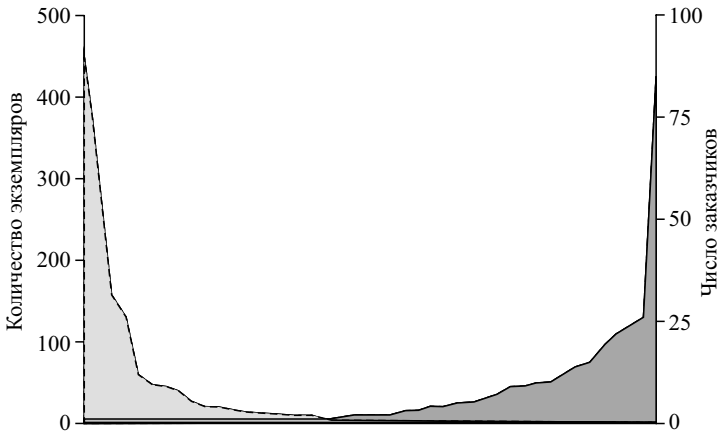


Рис. 1.3. Распределение изданий, запрошенных сотрудниками Академии наук в ее книжной лавке в 1743 г. в зачет жалованья, по числу экземпляров и заказчиков³¹

На 5 из 45 заказанных книг приходится 77,5% всех экземпляров. Если учесть цену заказанных изданий, окажется, что из общей суммы около 1850 руб.³² на две позиции — «Уложение с регламентом» и

³¹ Коллективные прошения учитываются как заказы одного заказчика.

³² Цена большинства заказанных изданий известна; общая сумма заказанных экземпляров — 1821 руб. 82 коп.; несколько изданий, заказанных преимущественно по одному экземпляру, стоили в сумме заведомо не более 30 руб. Общая штатная годовичная сумма Академии в 1743 г. составляла 43 тыс. руб. Заказ книг в зачет жалованья компенсировал менее 5% задолженности Академии перед ее

вышедшую лишь в октябре 1743 г. «Указную книгу» — пришлось почти 4/5 (78,8%). Несмотря на то что заказ этих двух книг представлял собой, по-видимому, рациональный финансовый выбор, для значительной доли заказчиков оказались интересны и другие издания.

Таблица 1.1 Распределение заказов академических книг
в зачет жалованья в 1743 г.

Название ³³	Цена (руб.)	Количество заказанных экземпляров	Число за- казчиков
«Уложение с регламентом»	1,5	448	86
Юности честное зеркало	0,2	131	26
Флоринова экономия	2,25	60	24
«Азовская история»	0,5	45	22
«Указная книга»	2,55	300	19
Календарь на 1743 г.	0,1	158	15
Грациан	0,85	39	14
Военный устав	1	19	12
«Арифметика»	0,25	20	10
«Японская история»	0,8	16	10
Календарь на 1743, нем. яз.	0,1	48	9
Вейсманов лексикон	2.5	11	9
«Принца Евгения»	1,5	9	7
Школьные разговоры	0,3	27	6
Рисовальная книга	1,5	13	5
Разговоры о множестве миров	0,5	12	5

сотрудниками. Таким образом, для большинства из них (при довольно высоком кредите для служащих государственного учреждения) получение книг из книжной лавки представляло, скорее всего, способ быстро получить наличные деньги, а не компенсировать задолженность.

³³ Для краткости приводятся преимущественно сокращенные наименования продававшихся книг, принятые в обиходе академической книжной лавки и читателей; эти названия в таблице взяты в кавычки. В случае с одой Тредиаковского на сдачу Данцига и иноязычными книгами использованы именованя из прошений.

Продолжение табл. 1.1

Название ³³	Цена (руб.)	Количество заказанных экземпляров	Число заказчиков
Карты		10	4
Синописис	1,5	9	4
«География»	0,35	4	3
Марк Аврелий	1	3	3
Пошлинный тариф	0,15	4	2
«Атлас»	2	3	2
Смешанные разговоры	0,12	2	2
«Расположение учений...»	0,15	2	2
«Вольфова математика»		2	1
«Механика»	0,5	2	1
«Мемории, или Записки артиллерийские, состоящие в двух книгах»	6	1	1
«Книга Эйлера Леонгарда Трактат о философской о древней нынешней музыке на латинском языке»	1,25	1	1
«Геометрия»	0,5	1	1
«Курасова история»	0,4	1	1
Новый и краткий способ	0,25	1	1
Пошлинный устав	0,25	1	1
«Речь о Данциге»	0,2	1	1
«Письмо Остермана»	0,2	1	1
Вексельный устав	0,2	1	1
«Описание триумфальных ворот»	0,18	1	1
Описание и употребление универсальных солнечных часов	0,12	1	1
«Трактат с Персией»	0,12	1	1
«Речь замирения с Портою»	0,1	1	1
«Слово Феофана»	0,1	1	1
«Речь похвальная Тредиаковского»	0,06	1	1

Окончание табл. 1.1

Название ³³	Цена (руб.)	Количество заказанных экземпляров	Число за- казчиков
«Будей лексикон»		1	1
«Лексикон турк»		1	1
«Невтонова физика и универсаль- ная арифметика»		1	1
«Штейнбаховый немецкий лекси- кон»		1	1

Спустя пять лет после их выхода в 1738 г. сохранялся стабильный спрос на переведенное С.С. Волчковым пособие по домоводству «Флоринова экономия»³⁴ и «Азовскую историю» Байера в переводе И.И. Тауберта³⁵. Понятное попадание в верхнюю часть таблицы легко монетизируемых календарей (заказывались лишь на протяжении января) и базовых школьных пособий («Юности честное зеркало», использовавшееся прежде всего как букварь, арифметика Л. Эйлера, «Вейсманов лексикон», «Школьные разговоры» и др.) не отменяло интереса к «Грациану» (1741/1742) — ключевому учебнику придворного поведения, переведенному тем же Волчковым, или к переведенным Кантемиром «Разговорам о множестве миров» Фонтенеля (1740)³⁶, однако ближе к ядру «хитов» располагались исторические тексты — «Описание о Японе» (1734; как и в случае с «Азовской историей» Байера, обиходное для книжной лавки и читателей название «Японская история» восходит, по-видимому, к воспринимаемой как архетип «Казанской истории» XVI в.) и «Описание жития и дел принца Эвгения герцога Савойскаго» (1740). У книг, изданных Академией наук, в начале 1740-х годов были довольно многочисленные читатели, готовые

³⁴ О значении переводов Волчкова для русской культуры 1730–1750-х годов см.: [Кошелева, 2013; Evstifeeva, 2016/17].

³⁵ См. об этом тексте, использовавшемся в билингвальной гимназии Академии наук конца 1730-х годов как основное пособие для обучения русскому стилю: [Костин, Костина, 2019].

³⁶ О месте этого перевода в круге чтения русской публики 1730–1740-х годов см. диссертацию А. Иосада: [Iosad, 2017].

покупать их, читать и перечитывать спустя много лет после выпуска, если только это не были устаревшие законы, тексты, написанные к забытым победам прошлого царствования, узкоспециальные ученые книги (в том числе на иностранном языке). И стихотворные книги.

Место стихотворческих изданий в реестре прошений о выдаче книг 1743 г. не может не бросаться в глаза. Книг всего две; каждая была заказана лишь однажды в одном экземпляре. Более того, их заказал один и тот же человек в одном и том же заказе. Более того, составляя заказ, он назвал оду Тредиаковского на сдачу Данцига речью. Более того, общий контекст изданий, перечисленных в этом заказе, показывает, что для заказчика поэтический текст вряд ли имел самостоятельную ценность. Заказ был сделан в сентябре ослепшим, отрешенным от работы и получающим лишь академическую пенсию бывшим академическим наборщиком Иваном Сидоровым. Он просил выдать книги: «Брукнера одна, Зерцало юности две, новый краткий способ одна, речь о городе Данциге одна, принца Эвгения одна, письмо Остермана, писанное к верхнему визирю одно, пошлиной устав один, пошлиной тариф один, речь замирения с портою отоманскою одна, слово похвальное феофаново одно, речь похвальная Тредиаковского одна, трактат с персицкою империею, флоринова экономия одна, уложение с регламентом, японская история»³⁷. Человек, для которого подбирался этот набор книг — включающий почти половину (9 из 19) «уникальных» заказов в рассматриваемом корпусе (заметьте: в том числе самых дешевых изданий в этом корпусе), — был заинтересован в явленных художественным словом исторических событиях прошедшего десятилетия заметно больше, чем в специально стихотворном слове: «Флоринова экономия» и история Евгения Савойского читались на фоне сочинений Тредиаковского и Феофана, наоборот. В России начала 1740-х годов были читатели стихотворных текстов — немного, и их можно было не заметить со стороны, но они были. Допустимо, однако, сомневаться, что это были читатели *поэзии*. Желающий читать печатную гражданскую книгу ожидал от нее, по-видимому, не стихотворства, и ему (ей?) было из чего выбрать.

Когда и как появилась в России публика, в чьем чтении иерархически центральное место занимали поэтические сочинения, — чи-

³⁷ СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 81. Л. 21.

татели, для которых спор русских поэтов о месте на Олимпе стал в том числе и их спором? Внятного ответа на этот вопрос у нас все еще нет. Понятно, что выход на рубеже 1740–1750-х годов обширного рукописного сборника стихотворных идиллий [Николаев, с. 2013], или яростный поэтический спор начала 1750-х годов вокруг елагинской сатиры на петиметров (спор, заставивший говорить стихами людей, некоторым из них эта форма явно давалась с трудом), или активное участие десятков авторов-стихотворцев в журналах второй половины 1750-х, или вал стихотворной печати, поднятый государственным переворотом 1762 г., в какой-то мере маркируют появление этой немыслимой для начала 1740-х годов новой диспозиции вербального поля. Вместе с тем можно, скорее всего, согласиться с наблюдениями Н.Ю. Алексеевой о том, что вплоть до 1780-х годов история русской поэзии остается дискретной [Алексеева, 2019]; по-настоящему привычной, нормальной практика стихописания становится лишь при Державине. И, значит, несмотря на кажущуюся формальную континуальность, поэзия как вещь (социальный институт) в 1750-е годы была чем-то существенно иным, чем когда в литературу входил Карамзин. Надеюсь на то, что со временем очертания этой диспозиции будут проясняться, мне хотелось бы предложить еще одно наблюдение, позволяющее взглянуть на изменения поля поэзии 1750-х годов через оптику книжной торговли.

Как мы видели выше, у изданий, попавших в «длинный хвост» книжных заказов 1743 г., была одна отличительная экономическая особенность — это были по большей части самые дешевые позиции в выборке; при этом также в единственном экземпляре и также одним читателем была заказана и самая дорогая книга в этом корпусе. Дешевизна книги не обеспечивала ее популярности. А поэтические книги в 1740-х годах были сравнительно дешевы. И дело не только в том, что дешевым было само издание. Стоимость набора одного печатного листа типография Академии наук считала в 1 руб.; оттиск каждого листа — в 1 коп. (что было существенно выше себестоимости, если учитывать и жалованье типографских служителей, и материалы, и стоимость изготовления и амортизации инструментов); стопа (480 листов) голландской бумаги, на которой в 1740-х годах печатались, например, оды Ломоносова, стоила от 1,8 до 2,4 руб. Изготовление одного экземпляра двухлистной оды обходилось Акаде-

мии наук (по системе расчета цены, заметно превышавшей реальные расходы) примерно в 3 коп. Далее академическая канцелярия (как и со всеми другими своими печатными изданиями) вправе была назначить ей любую отпускную цену. Изменение этой экономической оценки од на протяжении жизни Ломоносова демонстрирует изменения социального статуса стихотворного текста с наглядностью, недоступной, кажется, ни одному другому маркеру. При одинаковой расчетной стоимости производства ода Ломоносова на день тезоименитства 1746 г., тираж которой почти целиком ушел на раздачу при дворе, была записана в приход книжной лавки с отпускной стоимостью экземпляра в 2 коп. — ниже себестоимости. Ода на день восшествия на престол 1761 г. продавалась по цене 12 коп. До этого 80 (из 300 не раздававшихся при дворе) экземпляров оды на рождение великой княжны Анны Петровны, напечатанных за счет Академии, поступили в продажу по цене 15 коп. По той же цене продавалась последняя ломоносовская ода — на новый 1764 г., напечатанная тиражом 1225 экземпляров, из которых 1003 поступили в продажу [Тюличев, 1983, с. 54–57]. Наценка в 250–400%, которую мы видим на примере поздних од Ломоносова, замечательна и на фоне од более ранних, и в целом в контексте академического книгоиздания. Мне неизвестно ни одного другого случая, когда академическое издание 1750-х годов продавалось бы с наценкой более 200%. Даже двукратное увеличение отпускной цены было для Академии наук очень редким шагом, говорящим о предполагаемой востребованности издания. Так, 2-й том «Сибирской флоры» Гмелина был в августе 1751 г. отпущен в книжную лавку по цене 2 руб. 50 коп., притом что его себестоимость была оценена всего двумя копейками ниже, поскольку

<...> ежели оную книгу положить сверх показанного числа еще к продаже в цене накладку, то оная книга состоять будет весьма дорогою ценою, которой к покупке охотников мало сыскаться может, потому что оная на одном латинском языке; и так за непродажею остаться имеет в казне, что имеет быть интересу ея императорского величества не без ущербу; <...> оная книга сочинена и в печать издана не для денежной прибыли, но для славы и чести академической³⁸.

³⁸ СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 461. Л. 365–366 об.

Ближайшими по уровню наценки к ломоносовским одам оказывались «Проект и план Петербурга» 1753 г. (134%; 10 руб. при себестоимости 4,24), отдельные тома Ролленовой истории (4-й, цена установлена по аналогии с 3-м: 150%, 1,5 руб. вместо 0,60) и Указная книга за 1725–1730 гг. (164%, 2,5 руб. вместо 0,94). Притом что только на цену «Проекта и плана», по-видимому, влияли те же причины ожидания обильной безденежной раздачи³⁹, что и в случае с одой, решение об увеличении отпускной цены до ломоносовских пропорций было бы фантастичным (альбом должен был бы стоить 17–21 руб.). Стратегия продажи оды предполагала, таким образом, ограничение доступа к книге открытой публики (ломоносовские оды лишь в отдельных случаях действительно поступали в продажу; на них могла быть назначена цена для записи в приход, но при этом было запрещено продавать) и избранность заинтересованной аудитории. Той же политики типография придерживалась и в отношении сторонних авторов. Так, фактор Лыков отказался в 1761 г. печатать оду Сумарокова великому князю Павлу Петровичу запрошенным тиражом 1500 экземпляров, напечатав лишь 500 с той мотивацией, что этого «числа по его мнению довольно будет как для удовольствия автора, так и для продажи»; на экземпляр была положена отпускная цена 10 коп., со 150%-й наценкой, одной из самых высоких для елизаветинского царствования⁴⁰.

* * *

Беглый набросок позволяет, как кажется, увидеть существенные черты истории русской поэзии первой половины XVIII в. в ее отношениях с публикой: замолкание и молчание на фоне вымывания стихов из церковной печати; конструирование закрытого круга возвышенных певцов и избранных слушателей-знатоков, символически убивающее предшествующую традицию; невнимание реальной

³⁹ Изначально было предложено продавать альбом с довольно высокой наценкой в 1,76 руб. (за 6 руб.), поскольку «довольное число и в разных переплетах в раздачу здесь и в рассылку за море имеет быть», однако уже через пять дней и эта цена была повышена вдвое, до 10 руб., поскольку на раздачу, иллюминирование и переплет «употреблена быть может довольноная сумма» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 463. Л. 373–345).

⁴⁰ СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 472. Л. 206–206 об.

сколько-нибудь широкой (нисколько не невежественной) аудитории к стихотворству, заметное через практики книжной торговли; постепенное размывание границ с сохранением институциональных инструментов ограничения публики. Остается непонятным, как размывались эти границы, насколько «читатель воспитывался автором» или же авторы герметичного круга были вынуждены реагировать на читательские практики. Относительно надежно можно лишь говорить, что на коротком отрезке конца 1740-х — начала 1760-х годов поле поэзии в России радикально перестраивается, включая читателей не как стоящих в стороне свидетелей, но как активных участников, вовлеченных (вовлекаемых) в конструирование поля.

Literary Institutions in the Russian Empire : collective monograph / Compiled and edited by Alexey V. Vdovin, Kirill Yu. Zubkov; HSE University. — Moscow: HSE Publishing House, 2023. — 496 pp. — (HSE Monographs: Humanities). — 500 copies. — ISBN 978-5-7598-2710-8 (hardcover). — ISBN 978-5-7598-2863-1 (e-book).

The collective monograph, prepared by the scholars from HSE University, Institute of Russian Literature Russian Academy of Sciences, and Lomonosov Moscow State University, explores the pivotal moments of the history of literary institutions in the Russian Empire in the 18th–19th centuries. Using the institutional theory and the concept of the public sphere, the authors study the formation of the social institution of literature, its autonomization and differentiation, interaction with the authorities and related institutions (education, justice system, theater etc.). Such an approach makes it possible to revise many traditional views about the history of Russian literature.

The book is intended both for literary and cultural scholars, historians, sociologists, as well as the general audience.

Научное издание

МОНОГРАФИИ ВШЭ:
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Институты литературы в Российской империи

Составители и ответственные редакторы *А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков*

Зав. книжной редакцией *Е.А. Бережнова*
Редактор *Т.В. Коршунова*
Компьютерная верстка: *Н.Е. Пузанова*
Корректор *Н.В. Андрианова*
Дизайн обложки: *И.В. Ветров*

Все новости издательства — <http://id.hse.ru>

По вопросам закупки книг
обращайтесь в отдел реализации
Тел.: +7 499 611-24-16, +7 495 624-40-27
bookmarket@hse.ru

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел.: +7 495 624-40-27

Подписано в печать 30.08.2023. Формат 60×88/16
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 30,1. Уч.-изд. л. 26,2
Тираж 500 экз. Изд. № 2663. Заказ №

Отпечатано ООО «Фотоэксперт»
109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42